1 руб. 50 коп.
Индекс 73607

ISSN 0130-217X

Кубань

4 1991

«ЗДЕСЬ Я У СЕБЯ ДОМА...»

В редакции «Кубани» состоялась творческая встреча с членом редколлегии журнала, поэтом Юрием Поликарповичем Кузнецовым.

«Здесь я у себя дома и не чувствую себя в гостях», — подчеркнул он, попивая душистый краснодарский чай.

На прощание поэт, наш земляк, подарил читателям «Кубани» несколько своих новых стихов, с которыми редакция и знакомит вас.

Юрий Кузнецов

* * *

Когда приходит в мир поэт,
То все встают пред ним.
Поэт горит — и белый свет
Его глотает дым.

Когда он с Богом говорит,
То мир бросает в дрожь.
Он слово истины творит,
А вы плодите ложь.

Урок французского

Кровь голубая на помост хлестала...
Ликуй, толпа! Снимай свое кольцо!
Но, говорят, Антуанетта встала
И голову швырнула им в лицо.

Я был плохим учеником, признаться,
В истории так много темных мест.
Но из свободы, равенства и братства
Я вынес только королевский жест.

Сон

Я уже не поэт, я безглавый народ,
Я остаток, я жалкая муть.
Если солнце зигзагом по небу пройдет,
То душа повторит его путь.

Мать-отчизна разорвана в сердце моем.
И, глотая как слезы слова,
Я кричу: — Схороните меня за холмом,
Где осталась моя голова.

* * *

Я пошел на берег синя моря,
А оно уходит на луну.
Даже негде утопиться с горя...
Свищет пламень по сухому дну.

Лик морского дна неузнаваем.
Адмирал, похожий на чуму,
Говорит, что флот неуправляем.
И луна нам тоже ни к чему.

Вопль надежды в клочья рвет стихия.
Высота сменила глубину.
Ты прости-прощай, моя Россия!..
Адмирал, уходим на луну.

Апрель 1991

Издается с 1945 г.



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ — ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ И КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ

Содержание

ЛОЖА ПРЕССЫ

В книге «Войны темных сил», вышедшей в 1928 году в Париже, Н. Е. Марков вспоминает: однажды во время заседания 3-й Государственной думы депутат Пуришкевич держал речь. По установившемуся обычаю его выступление заглушалось неистовыми криками, несшимися слева, как раз с того места, где восседала «печать». Неожиданно прервавшись на полуслове, Пуришкевич выбросил руку в сторону доброй сотни «интеллектуальных физиономий», припожаловавших освещать думскую деятельность, и пронзительно, на весь зал, воскликнул: «Да воздайте же, наконец, должное этой ложе!..»

Весь громадный зал повернул головы в сторону указующего перста Пуришкевича и, увидев сонмище демократических носов, выпяченных сальных губ, причудливых бород, курчаво-негроидных стрижек, разразился громким хохотом. Смеялись все: четыреста членов Думы, представители правительства и многочисленная публика, нисколько не подозревая, что надо было не веселиться, а плакать, ибо тогда уже наступило «время Митьки Рубинштейна», то есть интерпретации прессой любых позитивных государственных начинаний в «краплёном ключе».

«Это была глубоко обдуманная, злоумышленная система обмана и одурачивания всех читателей газет, а через них всего русского народа, — поделился своими впечатлениями Н. Марков, когда Россия как великая империя уже прекратила свое существование и ничего, кроме горького опыта, в авторской душе не осталось. — Даже самые убежденные не могли устоять в своих убеждениях, поскольку изо дня в день из сотен газет и журналов узнавали о деятельности патриотов одни гадости, а о деятельности лжереформаторов всяческие похвалы... К тому же правоверные газеты были скучнее, серее и однозначнее, нежели левоверные, шумно полоскавшиеся в золоте либерально-масонских вспомоществований... Природный порок правоверных изданий был и тот, что, отстаивая Россию, они должны были защищать власти предержащие, а не измываться над ними. Обывательская же толпа читателей легкомысленно влеклась к ярмарочному газетному балагану, где забористо чехвостились министры, губернаторы, генералы... Это чтиво было гораздо занимательнее, перчистее, безумнее охранительных соображений патриотической печати. Билеты на «Пир во время чумы» раскупались куда лучше, нежели объявления о необходимости санитарных мер...»

Какой подспудный смысл вложил автор горестной «Исповеди» в свои дальнейшие размышления о «Пире», точнее о том, что «чума-то в конце концов и взяла свое»? Сконцентрировал особое внимание на персональном составе «пирующих», то есть на тех, кто овладел прессой и стал определителем ее политики. Почти все петербургские газеты, по его выкладкам, принадлежали корпорации «избранных». «Речь» — Гессену и Винаверу, «Биржевые ведомости» — Проперу, «День» — Когану и Биккерману, «Копейка» — Городецкому, большинство иллюстрированных и юмористических журналов — Конфельду. Даже такая пророссийская газета, как «Новое время», после смерти Суворина незамедлительно перешла в руки Пиленко, председателя еврейского союза думских журналистов, а «Вечернее время» — под бдительное око Манусевича-Мануйлова. «В этом клановом захвате всего русского печатного слова, — сделал обобщение Н. Марков, — и таился залог захвата фарисействующими свободолюбцами самой России. Ибо захватив верховенство над русским словом, цивилизаторы-либералы стали, по существу, распорядителями и русской мысли, и русских действий».

У книги Н. Маркова «Войны темных сил» в наши дни без труда обнаруживается одна особенность, влияющая на восприятие ее основной идеи: оценка дореволюционной российской печати в ней не выглядит предвзятой или однобокой. В старом сборнике А. П. Пятковского «Государство в государстве» (Санкт-Петербург, 1901) читаем: «Знаменитый в своем муравейнике Мозе Монтифиоре (в Англии — сэр, в в России — Мойша Блюмберг) в середине 19-го столетия одарил своих соплеменников мудрым советом: «Напрасно вы монополизируете капиталы, торговлю и прочее. Пока вы не завладеете периодической печатью и не будете иметь в своих руках общественное мнение всего мирового сообщества, до тех пор ваши мечты о владычестве останутся пустою химерою».

В процессе российских преобразований рекомендации Мозе, или Мойши, уже к началу двадцатого столетия были претворены в жизнь цивилизаторами-реформаторами, что называется, с запасом. По свидетельству такого издания, как «Вече», восемьдесят процентов печатной продукции 1905—1917 годов в растревоженной России выходило под циничным

знаком обновленческого блудословия. И заправляли этим блудошабашем биржевики-прогрессисты типа Абрумома Липскерова, подмастерья пестрядиного цеха по образованию и владельца приснопамятных «Новостей дня» по судьбе, тех самых «Новостей», где вызрели и пошли затем гулять по российской периодике два таких плюралиста, как Дорошевич и Амфитеатров.

Если слова Наполеона о том, что три-четыре враждебных газеты опаснее ста тысяч неприятельского войска, в какой-то мере верны, то придется констатировать: несколько сотен русофобских изданий, расцветших на ниве купоно-свободолюбивых вожделений, представляли для российской жизни мину самого замедленного и злокозненного действия. В статье «Лукавая печать», увидевшей свет в одном из номеров «Вече» за 1907 год, С. Россов не просто обнародовал имена заправил новых российских изданий, а и показал механизм их воздействия на общественное сознание. Такие жонглеры слова, как Генейзер, Гафман, Гуревич, Иоллос, по его наблюдениям, «пропускали» на страницы общероссийской «Речи» только ту информацию, которая нужна была «просветителям» для самоутверждения и обогащения. Где правомернее было бы сказать: «Наши клановые интересы», обозреватели «Речи» говорили: «Наши российские интересы», где нужно было провозгласить «требования» от «имени клана», они провозглашали «требования» от имени «народной воли» и этим утилизировали, а то и дискредитировали самые благие общественные порывы.

Аналогичную картину являли, по С. Россову, и «Биржевые ведомости», «Право», «Бурелом», «Начало», «Борьба», «Пулемет», «Товарищ», «Новый путь», «Понедельник», «Сегодня», «Зорька», «Буревестник», «Столичная почта», старавшиеся всяческими способами внушить россиянам нерасположение к своему Отечеству и осмеивавшие все возвышенное в российской истории. Пригрозив надеть намордник всякому супостату, вознамерившемуся стать на пути социал-демократических начинаний, «Петербургский листок» в лице Зельдера и Гольдемана одним из первых в России, по выражению автора «Лукавой печати», затеял кампанию «всеобщего общественного одурачивания», то есть ошельмовывания русского самопроявления как «отсталого», «реакционного» и «черносотенного».

С. Россов прекрасно понял, что оговор «Союза русского народа» и выставление его шести миллионов членов «гнусною шайкою заговорщиков» явились результатом поразительной доверчивости россиян, привыкших смотреть на печать как на носительницу истины. Только вместо того, чтобы предвидеть последствия данной привычки, он выдвинул каноническое: призвал каждого россиянина чутко следить за журнально-газетными гешефтмахерами и с презрением отгонять от себя чинимые ими наветы и науськивания.

К этому суждению публициста можно и сегодня отнестись как к вполне серьезному, но одновременно следует учесть, что оно было тогда и осталось недостаточным. В целом ряде других работ, вышедших в начале девятисотых и затрагивающих проблему российской периодики, мы находим четкое обоснование того, что именно в этот период общественных волнений и замешательств прессе выпал постыдный удел утверждения будущего порядка через «растление масс». В книге А. С. Шмакова «Свобода и Евреи», впервые изданной в Москве в 1906 году, а затем широко тиражированной в перепечатках, российская периодика предстает как лабиринт шутовской гофманианы, где под маской «сынов отечества» действуют настоящие бесы, которым нет никакого дела ни до державы, ни до ее паствы, загипнотизированной либерально-демократическими словесами.

Исследование А. Шмакова — это прежде всего физиология функционирования борзописца, завербованного ложей составителей «начинки» для обывательских умов. Автор дает его собирательный портрет, как бы очищая модель от всего излишнего, и перед нами возникает выморочно-осатанелый тип, персонифицирующий то, что позже стало называться диктатом прессы.

Устойчивое презрение ко всему действительно самобытному, умение по сигналу свыше разлагать и разменивать на мелочь общественный разум, способность с неподражаемой развязностью менять алтари и с опереточным блеском сегодня хулить то, чему вчера заразительно призывал внимать, — таковы, по А. С. Шмакову, отличительные черты служителя прессы, искусно прикрывающейся контрабандным флагом демократизма. А стратегия и тактика ее центральной ложи — энергичное поддерживание свистопляски зла, увертливость и мистификация, позволяющие бесперебойно выдавать новое за старое и старое за новое, наконец, коварные козни и инсинуации, создающие беспрепятственные возможности выстраивать на развалинах прежнего государственного здания, сокрушаемого переустройством, свой престол, именуемый богатством.

Здесь возникает естественный вопрос: каким образом и с чьей помощью гешефтмахерам удавалось на протяжении столь длительного срока играть роль «вещуна» в бедламе человеческого легковерия? Чтобы ответить на него, очевидно, лучше всего обратиться опять к истории, а именно к такой ее ипостаси, как интеллигенция.

В свое время Р. Иванов-Разумник в книге «Что такое интеллигенция?» предложил следующую расшифровку этого узкожитейского и несколько претенци-

озного понятия: «Интеллигенция есть этически — антимещанская, социологически — внесословная и внеклассовая преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов...»

По мысли Разумника, настоящим русским интеллигентом мог себя почитать только тот, кто был причастен к преемственному ордену просвещенцев и отличался устремленностью к безличной или безнациональной цивилизации. Не известно, получил ли Иванов-Разумник за свой вклад в теорию интеллектуального дифференцирования диплом «Почетного обрезанного», коим в предреволюционную пору паевое товарищество пресловутого Митьки Рубинштейна удостаивало наиболее ярких приверженцев либерально-биржевой прессы, но по истечении времени под термином «интеллигент» стали повсеместно понимать не столько образованных, сколько оторванных от родной почвы и растворенных в «ядреном вареве» клановых чернил.

Когда А. Амфитеатров на вопрос-уточнение о том, кого все же относить к российским интеллигентам, дал уклончивый ответ: «Того, кто заправляет рубаху в штаны и читает лапсердачную литературу», он не думал отделаться отговоркой. Заведомая оппозиционность российским устоям и антипатриотизм именно в этот период стали признаками прогрессивности умствующего слоя, и без них в ряды «мыслящей», «передовой», «свободолюбивой» интеллигенции вход был просто заказан. Всякая посредственность, упивающаяся «музыкой» леволиберальной прессы и оснащенная кастетом для «потрошения российских голов», воспринималась радикалами как желанная. И, напротив, любая органичная личность, национально состоятельная и духовно независимая, отвергалась начисто как неинтеллигентная. В этой связи ни К. Леонтьев, ни К. Победоносцев, ни П. Столыпин, ни В. Розанов к разряду «интеллигенции» так и не получили чести быть причисленными, а П. Струве, А. Керенский, В. Мейерхольд, М. Шагал оказались не только возведенными в этот сан, но и провозглашенными ее «российским цветом».

Несомненно, граница между интеллигентностью и неинтеллигентностью была относительной, и все же решающим условием для приобретения интеллигентского статуса выступало крамольное начало, отрицательное отношение к российской исторической «предначертанности». И потому на гребне последующих «освободительных» сотрясений: военного коммунизма, индустриализации, коллективизации, культурного перевооружения неизменно оказывались наши интеллектуалы-умопомазанники, ориентированные на цивильные задворки Европы и Америки. Хотя бы такие, как Л. Авербах, Г. Лелевич, С. Родов, Ю. Либединский, О. Брик, В. Киршон, К. Малевич, А. Эфрос. Я. Тугендхольд, М. Фридлянд, Б. Агапов, К. Зелинский, Р. Кауфман, С. Эйзенштейн, И. Эренбург, Б. Эйхенбаум и т. п. То, что некоторые из них вскоре испытали на себе превратности «истребительно-трудовых», было естественным результатом разгульно-тиранического «шимми», который они приняли, как эстафету, от крамольных предшественников и принялись исполнять, невзирая на новые коллизии.

Мы часто плачем, слишком много стонем,
Но наш народ, огонь прошедший, чист.
Недаром слово «жид» всегда синоним
С большим, великим словом «коммунист»...—

так писала Маргарита Алигер, изо всех сил стремясь устранить противоречия, возникшие в середине 30-х в клане верховенствующих лиц, говоря современным языком, установить между ними необходимый консенсус. Если принять во внимание, что руководство советской прессой осуществлялось через Отдел печати ЦК ВКП(б), а на журналистских аванпостах пребывали подлинно «левые интеллигенты», неустанно изобличавшие «иконно-кондовую Россию»: в Отделе ЦК — Таль, в Лондоне — Иерухович, в Женеве — Вильнер, в Вашингтоне — Ольгин, в Париже — Ольгер, в других заграничных корпунктах — Розенблят, Фишбуттер, Сергалович, Мендельсон, Альтман, Эльвин, Иольсон, Амор, Майзель, Либерман, Фейгин, Канторович, Мингулин, Диманштейн, Гринвальд, Мейерсон, то придется признать, что М. Алигер, сама дерзновенная интеллектуалка, выступила не сторонником общественного равновесия, а апологетом кастовости. Вернее, той самой увертливо-хитромудрой сделки «прогрессивной» прессы и «блестящей» интеллигенции, которая уже в нынешние дни ввергла наше Отечество в пучину страданий, унижений и неисчислимых потерь.

Может показаться, что тождество, горячо продекларированное М. Алигер, не такое уж и тождество, особенно если учесть тот напор дикой хулы, какой обрушился в последнее время на слово «коммунист», ставшее поистине сакраментальным. Однако все здесь не столь просто. Хуле подвергся не «коммунист» как таковой, а «коммунист обрусившийся», то есть переставший быть синонимом «жида», и — оказался вытесненным «либерал-демократом», охваченным к «почве» интеллектуально-диссидентской ненавистью. Если от первого порой слишком сильно попахивало «кровью-потом», то от второго сразу же стал исходить другой запах — гари и трупов. И вот он-то, этот запах, и привлек к себе нашу многошумную, леволиберальную прессу, которая в своей прозорливой алчности с ходу включилась в борьбу за то, чтобы коммунистов-перерожденцев сменить на трансконтинентальных интеллектуалов-демократов, обещавших всем своим «присным» более вольготный прокорм-существование.

Чтобы высказанное соображение не показалось голословным, обратимся в качестве примера к откровениям А. Зиновьева. Ложа наших левых энергично прокламирует его «Зияющие высоты» и упорно замалчивает «Открытое письмо», которое еще в ноябре 1984 года появилось на страницах «Нового русского слова» и уже одним своим заглавием «Почему я не вернусь в Россию?» оказалось направленным на выявление «подлинной сути» грядущих российских перемен. «Возвращаться домой — какая чудовищная нелепость...— читаем в письме А. Зиновьева. — Той России, куда мы могли бы вернуться, просто нет на Земле». А куда же она делась? Растворилась в «мрачной реальности революционных идеалов», в обустройстве «приемлемого и ненавистного коммунистического дома» и теперь снова в «своем перманентном переустроительном порыве» пытается подняться из руин, чтобы окончательно и навсегда «провалиться в преисподнюю»...

Знающий западную демократию не понаслышке, автор «Зияющих высот» не хочет оказаться в «трясине» ее российского демократического варианта. Не хочет потому, что не умалился еще и не пал настолько, насколько пали «обычные советские прохвосты-интеллигенты», жадно намеревающиеся «играть свои вновь перекроенные роли в переиначенном спектакле». Употребив несколько раз выражение «Моя историческая Родина», А. Зиновьев дает понять, что имеет в виду не Россию, а Эпоху, которая заслонила собою Родину и оттеснила ее на задний план. И вот он, русскоязычный отщепенец-интеллигент, слишком привязан к этой Эпохе, чтобы переживать в очередной раз очередную трагическую ситуацию. К тому же с теми, чьи беззастенчивые писания именно он сам сопоставлял с чистотою отхожих мест и которые в скором будущем своими софизмами, ироническим пустословием, изворотливым перетолкованием одних и тех же фактов, прочими «прокаженными мистификациями-струпьями заразят все вокруг».

А. Зиновьев бежал из России от «коммунистов-жидов» и не намерен возвращаться к «демократам-жидам»... Такое двойное неприятие — не погоня за конъюнктурой и не прагматический экивок, а позиция. Причем, по-своему нормальная, доступная осознающей себя здоровой, неассимилированной критичности и противостоящая тем гибельным маневрам партикулярной прессы, которую автор «Зияющих высот» теперь уже в недавней публикации в «Комсомольской правде» определил и как «амбициозный функционаж абсолютно полых прислужников».

Какой жизненный срез имел в виду Данте, когда написал: «Здесь нужно, чтоб душа была тверда...»? Не исключено, что сегодняшний, российский, претерпевающий все новые и новые превратности так называемого переустройства и корректируемый корпоративно-эволюционизирующей прессой. «Литературная газета», «Огонек», «Октябрь», «Московские новости», «Демократическая Россия», «Новое время», «Арена», «Коммунист», «Знамя», «Неделя», «Юность» и прочие радикальные средства массовой информации, неутолимые в своих захватническо-прагматичных поползновениях, терзают Разум и Дух россиян, попирают их Рассудок и Здравый смысл, по-своему внедряя в общественное сознание культ цинизма и негатива. При этом жестокость обозревателей, сладострастно живописующих распад российской государственной постройки и ее морально-нравственных устоев, не уступает зачастую жестокости профессиональных «преступных элементов», развернувшихся на передовых позициях «свободных зон» и действующих по плану клана.

«Обаятельный пророк эфира, не знающий преград», В. Познер в своем развернутом репортаже «О чем я не могу сказать с телеэкрана», опубликованном в январе 1991 года в «Комсомольской правде», выдвинул идею незамедлительного создания в СССР реальных «альтернативных информационных средств». Таких, какие являются нормой в «свободной» Европе и Америке и позволяют каждому журналисту или просто страждущему подать свой голос, чтобы соединиться в «равноправном, общечеловеческом» порыве. Но разве их у нас мало? А если к уже названным присовокупить «Собеседник», «Час пик», «Менеджера», «Венеру», «Еще», «Советскую культуру», «Известия», «Дом кино», «24 часа», «Куранты», «Экспресс», «Союз», «За рубежом», «Аргументы и факты», «Аспект», «Книжное обозрение», «Курьер», «Смену», «Эхо планеты», «Журналиста», «Театральную жизнь», «Знак вопроса», недобрую сотню других русофобско-космополитизированных изданий, то неужто претензия ведущего приснопамятных своим подложным энтузиазмом телемостов окажется состоятельной?

Сам В. Познер уверен, что да. Ведь у нас, согласно его сетованиям, пока имеет место лишь «конгломерат свободных изданий», который, подобно лавине, катится сам собой и не может противостоять государственным. А чтобы этот «конгломерат» обрел целенаправленность, ему нужна системность. Такая, какая укоренилась в Штатах...

Об американской «свободе слова» в нашей стране в период застоя сподвижниками В. Познера было написано немало, причем однозначного: осуждающего.

Не станем, однако, ворошить и реанимировать их обличения-фикции, а обратимся к источнику более независимому — работе Дэвида Дьюка «Кто управляет средствами информации?», изданной в США в 1987 году и перепечатанной вскоре журналом «Русское самосознание».

Дэвид Дьюк знает, что в Советском Союзе нет достаточной свободы слова. Однако он твердо усвоил и другое: свободы слова нет и в США. Из «62 000 000 экземпляров главных ежедневных газет Америки подавляющая часть выходит под контролем лоббистов или еврейского меньшинства, составляющего только 2,9% всего населения страны». Более чем в девяноста процентах американских городов «местные ежедневные газеты не имеют конкурентов», а если и имеют, то номинальных: «между утренними и вечерними выпусками», производными, впрочем, «одними руками». «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Ньюсуик», «Уолл-Стрит джорнэл», другие самые значительные издания находятся в ведении элиты или, как еще выражается Дэвид Дьюк, «клуба культурных наставников», которые по своему усмотрению всякий раз решают, что давать молодежи: «смесь героики, секса и примитива» или «насилия, замешенного на безумии»..

Для вящей убедительности перелистав книгу голливудского «иудео-плюралиста» Бен Стейна «Взгляд с Бульвара заходящего солнца», Дэвид Дьюк доводит до всеобщего сведения, что большинство сценаристов и постановщиков Голливуда — «избранные», как, впрочем, и американского телевидения, радиовещания, шоу-бизнеса. По мере дальнейшей демократизации авторитарных режимов, делает он вывод, под приглядом «цивилизованно-финансовых покровителей» окажется и пропаганда Советов, которая уже исподволь обретает лик «правозащитной» и «охлократической».

Смена ориентиров у наших средств массовой информации в процессе демократических превращений произошла, и впрямь, много быстрее, чем могло предположить самое искушенное воображение. Под эгидой «общечеловеческих приоритетов» чистые марксисты устремились к официальному западничеству, их замутненные пособники — к религии и через нее к иудо-христианству, разнообразные изоляционисты-эгоцентристы — к полной свободе самовыражения. А все вместе — к циничному ликвидаторству, идеологии более агрессивной, чем марксизм, поскольку ее душа, переместившись из тела партократов в тело межрегионалов, слилась, по принципу метапсихоза, с душой «беспощадной касты мироприятзателей». «Сегодня в стране сложился клан, определяющий политическую направленность массовых изданий...», — с запозданием, но твердо признает Г. Зюганов, секретарь ЦК Компартии РСФСР в статье «Еще не поздно» («Советская Россия», 5 марта, 1991). И, выделяя угрожающе-корпоративную манеру манипулирования общественным мнением, исходящую от «единящейся пресс-элиты», призывает всех россиян «почувствовать себя гражданами великой державы» и встать на защиту «обретенных идеалов».

В отличие от позиции В. Познера, рядящегося в либерально-космополитические ризы, позиция Г. Зюганова действительно гуманистична. И все-таки есть в ней изъян, не позволяющий истерзанному российскому люду вновь стать без раздумий под его знамена. Изъян этот — мир «четвертого измерения» или реставрируемая им прогрессивно освободительная доктрина, произрастающая из западноевропейских задворок. Тех самых, которые Родиону Раскольникову привиделись однажды как «трихины» и вот уже какое десятилетие бесплодной пагубой подтачивают-разрушают самостояние россиянина.

В «Повести о рыжем Мотеле» И. Уткина, на свирепом пафосе которой воспитывались как прозелит В. Познер, так и обрусянившийся большевик Г. Зюганов, читаем:

На восход по улице прошел отряд.
Но не к этому добавлю, главное (чтоб ни сдох!)
В отряде с могендовидом Мотька Блох
Идет по главной улице,
Как генерал на парад...

Обратим внимание: «генерал» Мотька Блох шествует по главной российской улице с могендовидом, то есть утверждает «жизнь по Марксу» с избранническим символом, позволяющим ему освобождаться ото всех, кто попадается на его пути с крестом или просто не приглянулся.

Этот страшный опыт Мотьки нашим народонаселением постепенно оказался осмыслен вполне, но вот заблуждение, его породившее, осталось неизжитым. Что ему помогает держаться на плаву: российская терпимость? Имморализм прессы? Духовная опустошенность верховных лидеров-вертопрахов? Пожалуй, и то, и другое, и третье. Достоевский надеялся, что российские верховоды с натурами праздных краснобаев-самоубийц опомнятся после того, как принародно «обратятся в гадину, трусливую, самолюбивую мразь...». Обращение, кажется, состоялось, но надежде писателя пока не суждено сбыться. Не связанную ли со всем этим горестную ситуацию, пытающуюся постичь всю дозу «российского греха», и запечатлела старинная притча: «Порубщики взяли топоры и принялись рубить зеленую рощу. Заволновались дальние деревья и спрашивают: «Что это они делают?» А вытянувшийся орешник отвечает: «Горе нам, други, ведь топорище то, чем нас сживают со света, — от нас же...»

Виталий КАНАШКИН.

Михаил Шелехов

Грибной дождь

Под копытами красных и белых полков
Сколько сгнуло будущих кротких веков!
Звук копыта повис. И висит, как топор.
И, прибитый копытом, качается бор.
И испуганно крестится вор.

Но обломки церквей и осколки гранат
В бедном теле державы угрюмо саднят.
Что не сделали красные —
лагерь подмел,
Погулял по лоскутьям развеянных сел...
С потрохами ел родича брат.

Мы на кроткую землю, как ветошь, легли.
И копыта по спинам кроваво прошли.
И в четыре копыта повыбили нас!
Только дождик грибной корни
бедные спас —
На пожарище кроткой земли.

...Есть лекарственных трав
терпеливый настой,
Ты в блаженстве зеленом лениво постой.
И вдохни аромат пересохших надежд,
И коснись шелестящих и нежных одежд,
И исполнись былой красотой!

И, усыпан росою, Отчизне внемли
В Оружейной палате российской земли!
Пусть горит листопад,
будто свет Покрова,
Вспоминай, пусть болит,
золотые слова!
А слова твои — не отцвели.

Пусть рядится каганов и темников месть,
Не дано цветникам нашей воли
отцвесть.
И тебе ниспошлется — едва позови
Эти песни истории, славы, любви.
А в груди твоей музыка есть!

И когда зазвучишь, как старинная медь,
И пойдет по-над полем
твой голос греметь,
Так увидишь, как вдруг
величаво легки,
Поднимаются павшие наши полки
И крыла поднимают — лететь!

И с тобой заодно их хмельное вино,
И знамена златые с тобой заодно,
И в атаке знамен исчезает, как сон,
Злоба падших и суетных наших времен,
И Отечество вновь не черно.

Снова дождик грибной.
Снова Дух золотой.
И растут из грибницы единой семьей —
И отец твой, и дед,
И скончания родине радостной нет.
И тебе нету смерти, родной...

Гвозди

Потянулись к земле,
щедро политой кровью!
А земля затвердела, дичая и глушь.
Но терзали ее гвоздодерной любовью,
Вырывая Христа из славянской души.

И когда побратались
с проклятой Ордою,
Надругавшись над Русью в обители сел,
И когда соломоновой жуткой звездою
Припечатал Россию шальной комсомол,

Все же память стояла
в грибном отдаленье
Да иконка висела на тихой сосне.
И Россия охапками бедной сирени,
Хоронясь, пробиралась к тебе и ко мне.

Вот она, деревенская вечная школа!

С перебитым хребтом,
но крылами жива...
И навеки горят три больничных укола,
В три гвоздя на Руси — золотые слова.

Вырывали! Но — Вера,
Любовь и Надежда
Послужили и снова послужат Руси.
Будто гвоздики те милосердно и нежно
Сам Господь подержал
в своей теплой горсти.

Жокеи кощунства

Не умирает подлое искусство,
Как на жокея — ставить на кощунство!
И западный откормленный субъект
Уже вопит: ату его, Аллаха!
Не зная целомудрия и страха...
И в сатанинство брошен Магомет.

Несчастные слепые европейцы!
И вам судьба отправиться в индейцы!
И вот, глядишь, по манию перста
Подлец творит нечистую картину:
В постель кладет Христа и Магдалину!
И нет на вас великого поста.

Да будет час Всемирного Призора!
И по пятам растлителя и вора
Промчится конь и пламени верста.
Вам на него не доведется ставить.
Грохочет гром! То скачет бога славить
Суровый конь Великого Поста.

Иван Солоневич

РОССИЯ В КОНЦЛАГЕРЕ*

Потом я узнал, что это был крикливый и милейший старичок, доктор Шуквец, отбарабанивший уже четыре года из десяти, никого в лагере не обидевший, но, вероятно, от плохой печени и еще худшей жизни иногда любивший поорать. Но ничего этого я еще не знал. И старичок тоже не мог знать, что я незаконно болтаюсь по лагерю не просто так, а с совершенно конкретными целями побега за границу.

— Что это вам тут, курорт или концлагерь? — продолжает орать старичок. — Извольте подчиняться лагерной дисциплине! Что это за безобразие! Шатаются по лагерю, нарушают карантин.

И я решаюсь идти на арапа.

— Видите ли, товарищ доктор. Если вас интересуют причины моих прогулок по лагерю, думаю, что начальник отделения даст вам исчерпывающую информацию. Я был вызван к нему.

Начальник отделения — это звучит гордо. Проверять меня старичок, конечно, не может да и не станет. Мало ли какие «шишки» попадают в лагерь!.

— Нарушать карантин никто не имеет права. И начальник отделения тоже,— продолжает орать старичок, но все-таки тоном пониже. Полуначальственного вида дяди, стоящие за его спиной, улыбаются мне сочувственно.

— Согласитесь сами, товарищ доктор: я не имею решительно никакой возможности указывать начальнику отделения на то, что он имеет право делать и чего не имеет права. И потом, вы сами знаете, в сущности, карантина нет никакого.

— Вот потому и нет, что всякие милостивые государи, вроде вас, шатаются по лагерю. А потом санчасть отвечать должна. Извольте немедленно отправиться в барак.

— А мне приказано вечером быть в штабе. Чье же приказание я должен нарушить?

Старичок явственно смущен. Но и отступать ему неохота.

— Видите ли, доктор,— продолжаю я в конфиденциально-сочувственном тоне. — Положение, конечно, идиотское. Какая тут изоляция, когда несколько сот дежурных все равно лазают по всему лагерю — на кухни, в хлеборезку, в каптерку. Неорганизованность. Бессмыслица. С этим, конечно, придется бороться. Вы курите? Можно вам предложить?

— Спасибо, не курю. Вы инженер?

— Нет, плановик.

— Вот тоже все эти плановики и их дурацкие планы. У меня по плану должно быть 12 врачей, а нет ни одного.

— Ну, это значит ГПУ не допланировало. В Москве кое-какие врачи еще по улицам ходят.

— А вы давно из Москвы?

Через десять минут мы расстаемся со стариком, пожимая друг другу руки. Я обещаю ему в своих «планах» предусмотреть необходимость жесткого проведения карантинных правил. Знакомлюсь с полуначальственными дядями: один санитарный инспектор Погры и двое — какие-то инженеры. Один из них задерживается около меня, прикуривая потухшую папиросу.

* Продолжение. Начало в № 1–3.

— Вывернулись вы ловко. Дело только в том, что начальника отделения сейчас в Погре нет.

— Теоретически можно допустить, что я говорил с ним по телефону... А, впрочем, что поделаешь. Приходится рисковать.

— А старичка вы не бойтесь. Милейшей души старичок. В преферанс играете? Заходите в кабинку, сымпровизируем пульку. Кстати, и о Москве поподробнее расскажете.

ЧТО ЗНАЧИТ РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ

Большое двухэтажное деревянное здание. Внутри закоулки, комнатки, перегородки, фанерные, досчатые, гонтовые. Все заполнено людьми, истощенными недоеданием, бессонными ночами, непосильной работой, вечным дерганием из стороны в сторону, «ударниками», «субботниками», «кампаниями». Холод, махорочный дым, чад и угар от многочисленных жестяных печурок. Двери с надписями: ПЭО, ОЛО, УРЧ, КВЧ... Пойди, разберись, что это значит. Планово-экономический отдел, общеадминистративный отдел, учетно-распределительная часть, культурно-воспитательная часть. Я обхожу эти вывески. ПЭО — годится, но там никого из главных нет. ОАО — не годится. УРЧ — к чертям. КВЧ — подходяще. Заворачиваю в КВЧ.

В начальнике КВЧ узнаю того самого расторопного юношу с побелевшими ушами, который распинался на митинге во время выгрузки эшелона. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж юношей. Толковое лицо, смышленые, чуть насмешливые глаза.

Ну, с этим можно говорить всерьез, думаю я.

Выражение «разговор всерьез» нуждается в очень пространном объяснении, иначе ничего не будет понятно.

Дело заключается, говоря очень суммарно, в том, что из ста процентов усилий, затрачиваемых советской интеллигенцией, девяносто идут совершенно впустую. Всякий советский интеллигент обвешан неисчислимым количеством всякого принудительного энтузиазма, всякой халтуры, невыполнимых заданий, бессмысленных требований.

Представьте себе, что вы врач какой-нибудь больницы, не московской показательной и прочее, а рядовой, провинциальной. От вас требуется, чтобы вы хорошо кормили ваших больных, чтобы вы хорошо их лечили, чтобы вы вели общественно-воспитательную работу среди санитарок, сторожей и сестер, подымали трудовую дисциплину, организовывали соцсоревнование и ударничество, источали свой энтузиазм и учитывали энтузиазм, истекающий из ваших подчиненных, чтобы вы были полностью подкованы по части диалектического материализма и истории партии, чтобы вы участвовали в профсоюзной работе и стенгазете, вели санитарную пропаганду среди окрестного населения и т. д. и т. д.

Ничего этого вы, в сущности, сделать не можете. Не можете вы улучшить пищи, ибо ее нет, а то, что есть, потихоньку подъедается санитарками, которые получают по 37 рублей в месяц и, не воруя, жить не могут. Вы не можете лечить как следует, ибо медикаментов у вас нет. Вместо йода идут препараты брома, вместо хлороформа — хлорэтил, даже для крупных операций вместо каломели — глауберова соль. Нет перевязочных материалов. Нет инструментария. Но сказать официально, что всего этого у вас нет, вы не имеете права: это называется дискредитацией власти. Вы не можете организовать соцсоревнование не только потому, что оно вообще вздор, но и потому, что если бы за него взялись мало-мальски всерьез, у вас ни для чего другого времени не хватило бы. По этой же последней причине вы не можете не учитывать чужого энтузиазма, не «прорабатывать» решения тысяча первого съезда МОПРа.

Но вся эта чушь требуется не то чтобы совсем всерьез, но чрезвычайно настойчиво. Совсем не нужно, чтобы вы всерьез проводили какое-нибудь там соцсоревнование, приблизительно всякий дурак понимает, что это ни к чему. Однако необходимо, чтобы вы делали вид, что это соревнование проводится на все сто процентов. Это понимает приблизительно всякий дурак, но этого не понимает так называемый советский актив, который

на всех этих МОПРах, энтузиазмах и ударничествах воспитан, ничего больше не знает и прицепиться ему в жизни больше не за что.

Теперь представьте себе, что откуда-то вам на голову сваливается сотрудник, который всю эту чепуховину принимает всерьез. Ему покажется недостаточным, что договор о соцсоревновании мирно висит на стенах и колупаевской, и разуваевской больницы. Он потребует через «общественность» или еще хуже — через «партийную ячейку», чтобы вы решительно проверяли пункты этого договора. По советским «директивам» вы обязаны это сделать. Но в этом договоре, например, написано: обе соревнующиеся стороны обязуются довести до минимума количество паразитов. А ну-ка, попробуйте проверить, в какой больнице вшей больше и в какой меньше. А таких пунктов шестьдесят. Этот же беспокойный дядя возьмет и ляпнет в комячейке: надо заставить нашего врача сделать доклад о диалектическом материализме при желудочных заболеваниях. Попробуйте, сделайте! Беспокойный дядя заметит, что какая-то иссохшая от голода санитарка где-нибудь в уголке потихоньку вылизывает больничную кашу — и вот заметка в какой-нибудь районной газете: «Хищение народной каши в колупаевской больнице». А то и просто донос куда следует. И влетит вам по второе число, и отправят вашу санитарку в концлагерь, а другую вы найдете очень не сразу. Или подымет беспокойный дядя скандал: почему у вас санитарки с грязными физиономиями ходят? Антисанитария! И не можете вы ему ответить: да, сукин ты сын, ты же и сам хорошо знаешь, что в конце второй пятилетки и то на душу населения придется лишь по полкуску мыла в год, откуда же я-то его возьму? Ну и так далее. И вам никакого житья и никакой возможности работать, и персонал ваш разбежится, а больные ваши будут дохнуть, и попадете вы в концлагерь «за развал колупаевской больницы».

Поэтому-то при всяких деловых разговорах установился между толковыми советскими людьми принцип этакого хорошего тона, заранее отметающего какую бы то ни было серьезность какого бы то ни было энтузиазма и устанавливающего такую приблизительно формулировку: лишь бы люди по мере возможности не дохли, а там черт с ними совсем, с энтузиазмами, и со строительствами, и с пятилетками...

С коммунистической точки зрения — это вредительский принцип. Люди, которые сидят за вредительство, сидят по преимуществу за проведение в жизнь именно этого принципа.

Бывает и сложнее. Этот же энтузиазм, принимающий формы так называемых социалистических форм организации труда. Вот вам, хотя и мелкий, но вполне, так сказать, исторический пример.

1929 год. Советские спортивные кружки дышат на ладан. Есть нечего, и людям не до спорта. Мы, группа людей, возглавляющих этот спорт, прилагаем огромные усилия, чтобы хоть как-нибудь задержать процесс этого развала, чтобы дать молодежи если не тренировку всерьез, то хотя бы какую-нибудь возню на чистом воздухе, чтобы как-нибудь, хотя бы в самой грошовой степени, задержать процесс физического вырождения... В стране одновременно с ростом голода идет процесс всяческого полевения. На этом процессе делается много карьер.

Область физической культуры — не особо ударная область, и пока нас не трогают. Но вот группа каких-то активистов вылезает на поверхность: позвольте, как это так? А почему физкультура остается у нас аполитичной? Почему там не ведется пропаганда за пятилетку, за коммунизм, за мировую революцию? И вот — проект: на всех занятиях и тренировках ввести обязательную десятиминутную беседу инструктора на политические темы.

Все эти «политические темы» надоели публике хуже всякой горчайшей редьки. И так ими пичкают и в школе, и в печати, и где угодно. Ввести эти беседы в кружках, вполне добровольных кружках, значит — ликвидировать их окончательно: никто не пойдет.

Словом, вопрос об этих десятиминутках ставится на заседании президиума ВЦСПС. «Активист» докладывает. Публика в президиуме

ВЦСПС — не глупая публика. Перед заседанием я сказал Догадову, секретарю ВЦСПС:

— Ведь этот проект нас без ножа зарежет.

— Замечательно идиотский проект, но...

Активист докладывает — публика молчит. Только Угланов, тогда народный комиссар труда, как-то удивленно повел плечами:

— Да зачем же это? Рабочий приходит на водную станцию, он хочет плавать, купаться, на солнышке полежать, отдохнуть, энергии набраться. А вы ему тут политбеседу. По-моему, не нужно это.

Так вот, год спустя это выступление припомнили даже Угланову. А все остальные, в том числе и Догадов, промолчали, помычали, и проект был принят. Сотни инструкторов «за саботаж политической работы в физкультуре» поехали в Сибирь. Работа кружков была развалена.

Активисту на эту работу плевать: он делает карьеру, и на этом поприще он ухватил этакое «ведущее звено», которое спорт-то провалит, но его уж наверняка вытащит на поверхность. Что ему до спорта? Сегодня он провалит спорт и подымется на одну ступеньку партийной лесенки. Завтра он разорит какой-нибудь колхоз — подымется еще на одну. Но мне-то не наплевать. Я-то в области спорта работаю 25 лет.

Правда, я кое-как выкрутился. Я двое суток подряд просидел над этой «директивой» и послал ее по всем подчиненным мне кружкам по линии союза служащих. Здесь было все: и энтузиазм, и классовая бдительность, и программа этаких десятиминуток. А программы были такие:

Эллинские олимпиады, физкультура в рабовладельческих формированиях, средневековые турниры и военная подготовка феодального класса. Англосаксонская система спорта — игры, легкая атлетика — как система эпохи загнивающего капитализма. Ну и так далее. Комар носа не подточит. От империализма в этих беседах практически ничего не осталось, но о легкой атлетике можно поговорить. Впрочем, через полгода эти десятиминутки были автоматически ликвидированы: их не перед кем было читать.

Все это вопиюще глупо. Но эта глупость вооружена до зубов. За ее спиной пулеметы ГПУ. Ничего не попишешь.

РОССИЙСКАЯ КЛЯЧА

Но я хочу подчеркнуть одну вещь, к которой в этих же очерках, очерках о лагерной жизни, почти не буду иметь возможности вернуться. Вся эта халтура никак не значит, что этот злополучный советский врач не лечит. Он лечит, и он лечит хорошо, конечно, в меру своих материальных возможностей. Насколько я могу судить, он лечит лучше европейского врача или, во всяком случае, добросовестнее его. Но это вовсе не оттого, что он советский врач. Так же, как Молоков — хороший летчик вовсе не оттого, что он советский летчик.

Помню, Горький в своих воспоминаниях о Ленине приводит свои собственные слова о том, что русская интеллигенция остается и еще долго будет оставаться единственной клячей, влекущей телегу российской культуры. Сейчас Горький сидит на правительственном облучке и вкупе с остальными, восседающими на оном, хлещет эту клячу и в хвост, и в гриву. Кляча по уши вязнет в халтурном болоте и все-таки тащит. Больше тянуть, собственно, некому. Так можете себе представить ее отношение к людям, подкидывающим на эту и так непроезжую колею еще лишние халтурные комья?

В концлагере основными видами халтуры являются «энтузиазм» и «перековка». Энтузиазм в лагере приблизительно такой же и такого рода происхождения, как и на воле, а «перековки» нет ни на полкопейки. Разве что лагерь превращает случайного воришку в окончательного бандита, обалделого от коллективизации мужика — в закаленного и остервенелого контрреволюционера, такого, что когда он дорвется до коммунистического горла, он сие удовольствие постарается продлить.

Но горе будет вам, если вы где-нибудь, так сказать, официально позволите себе усомниться в энтузиазме и перековке. Приблизительно так

же неуютно будет вам, если рядом с вами будет работать человек, который не то принимает всерьез эти лозунги, не то хочет сколотить на них некий советский капиталец.

РАЗГОВОР ВСЕРЬЕЗ

Так вот, вы приходите к человеку по делу. Если он беспартийный и толковый, вы с ним сговоритесь сразу. Если беспартийный и бестолковый, лучше обойдите стороной: упаси вас, Господи, попадете в концлагерь или, если вы уже в концлагере, попадете на Лесную Речку.

С такими приблизительно соображениями я вхожу в помещение КВЧ. Полдюжины каких-то оборванных личностей малюют какие-то лозунги, другая полдюжина что-то пишет, третья просто суетится. Словом, кипит веселая социалистическая стройка. Вижу того юнца, который произносил приветственную речь перед нашим эшелоном на подъездных путях к Свирьстрою. При ближайшем рассмотрении он оказывается не таким юнцом. А глаза у него толковые.

— Скажите, пожалуйста, где я могу видеть начальника КВЧ товарища Ильина?

— Это я.

Я этак мельком оглядываю эту веселую стройку и моего собеседника и стараюсь выразить взором своим приблизительно такую мысль:

— Подхалтуриваете?

Начальник КВЧ отвечает мне взглядом, который ориентировочно можно было бы перевести так:

— Еще бы! Видите, как насобачились.

После этого между нами устанавливается, так сказать, полная гармония.

— Пойдемте ко мне в кабинет.

Я иду за ним. Кабинет — это убогая закута с одним досчатым столом и двумя стульями, из коих один — на трех ножках.

— Садитесь. Вы, я вижу, удрали с работы.

— А я и вообще не ходил.

— Угу... Вчера там, в колонне — это ваш брат, что ли?

— И брат, и сын... Так сказать, восторгались вашим красноречием.

— Ну, бросьте. Я все-таки старался в скорострельном порядке.

— Скорострельном? Двадцать минут людей на морозе морозили.

— Меньше нельзя. Себе дороже обойдется. Регламент.

— Ну, если регламент, так можно и ушами пожертвовать. Как они у вас?

— Черт его знает. Седьмая шкура слезает, ну, я вижу, что вы, вопервых, хотите работать в КВЧ, во-вторых, что статьи у вас для этого предприятия совсем неподходящие и что, в-третьих, мы с вами как-то сойдемся.

И Ильин смотрит на меня торжествующе.

— Я не вижу, на чем, собственно, основано второе утверждение.

— Ну, плюньте. Глаз у меня наметанный. За что вы можете сидеть? Превышение власти? Вредительство? Воровство? Контрреволюция? Если бы превышение власти, вы пошли бы в административный отдел. Вредительство — в производственный. Воровство всегда действует по хозяйственной части. Но куда же приткнуться истинному контрреволюционеру, как не в культурно-воспитательную часть? Логично?

— Дальше некуда.

— Да. Но дело в том, что контрреволюции мы вообще, так сказать, по закону принимать права не имеем. А вы в широких областях контрреволюции, я подозреваю, занимаете какую-то особо непохвальную позицию.

— А это из чего следует?

— Так. Не похоже, чтобы за ерунду сидели. Вы меня извините, но физиономия у вас с советской точки зрения весьма неблагонадежная. Вы в первый раз сидите?

— Приблизительно в первый.

— Удивительно.

— Ну, что ж, давайте играть в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так что же вы нашли в моей физиономии?

Ильин уставился в меня и неопределенно пошевелил пальцами.

— Ну, как бы вам сказать... Предерзновенность. Нахальство сметь свое суждение иметь. Этакое, знаете ли, амбрэ «критически мыслящей личности». А не любят этого у нас...

— Не любят, — согласился я.

— Ну, не в том дело. Если вы при всем этом столько лет на воле проканителились — я лет на пять раньше вас угодил, — значит, в лагере как-то сориентируетесь. А кроме того, что вы можете предложить мне конкретно?

Я конкретно предлагаю.

— Ну, я вижу, вы не человек, а универсальный магазин. Считайте себя за КВЧ. Статей своих особенно не рекламируйте. Да, а какие же у вас статьи?

Я рапортую.

— Ого! Ну, значит, вы о них помалкивайте. Пока хватятся, вы уже обживетесь, и вас не тронут. Ну, приходите завтра. Мне сейчас нужно бежать еще один эшелон встречать.

— Дайте мне какую-нибудь записочку, чтобы меня в лес не тянули.

— А вы просто плюньте. Или сами напишите.

— Как это сам?

— Очень просто: такой-то требуется на работу в КВЧ. Печать? Печати у вас нет. У меня тоже. А подпись ваша или моя — кто разберет?

— Гм, — сказал я.

— Скажите, неужели вы на воле все время жили, ездили и ели только по настоящим документам?

— А вы разве таких людей видали?

— Ну, вот. Приучайтесь к тяжелой мысли о том, что по существующим документам вы будете жить, ездить и есть в лагере. Кстати, напишите уж записку на всех вас троих — завтра здесь разберемся. Ну, пока. О документах прочтите у Эренбурга. Там все написано.

— Читал. Так до завтра.

Пророчество Ильина не сбылось. В лагере я жил, ездил и ел исключительно по настоящим документам — невероятно, но факт. В КВЧ я не попал. Ильина я больше так и не видел.

СКАЧКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

События этого дня потекли стремительно и несообразно. Выйдя от Ильина, на лагерной улице я увидел Юру под конвоем какого-то вохровца. Но моя тревога оказалась сильно преувеличенной: Юру тащили в третий отдел — лагерное ГПУ — в качестве машиниста; не паровозного, а на пишущей машинке. Он со своими талантами заявился в плановую часть, и какой-то мимохожий чин из третьего отдела забрал его к себе. Сожаления были бы бесплодны да и бесцельны. Пребывание Юры в третьем отделе дало бы нам расположение вохровских секретов вокруг лагеря, знание системы ловли беглецов, карту и другие весьма существенные предпосылки для бегства.

Я вернулся в барак и сменил Бориса. Борис исчез на разведку к украинским профессорам — так, на всякий случай, ибо я полагал, что мы все устроимся у Ильина.

В бараке было холодно, темно и противно. Катались какие-то урки и умильно поглядывали на наши рюкзаки. Но я сидел на нарах в этакой богатырской позе, а рядом со мною лежало здоровенное полено. Урки облизывались и скрывались во тьме барака. Оттуда, из этой тьмы, время от времени доносились крики и ругань, чьи-то вопли о спасении и все, что в таких случаях полагается. Одна из таких стаек, осмотревши рюкзаки, меня и полено, отошла в сторонку, куда не достигал свет от коптилки, и смачно пообещала:

— Подожди ты, — в мать, печенку и прочее, — поймаем мы тебя и без полена.

Вернулся от украинских профессоров Борис. Появилась новая перспектива: они уже работали в УРЧ в Подпорожье, в отделении. Там была острая нужда в работниках, работа там была отвратительная, но там не было лагеря как такового, не было бараков, проволоки, урок и прочего. Можно было жить не то в палатке, не то в крестьянской избе. Было электричество. И вообще, с точки зрения Погры, Подпорожье казалось этакой мировой столицей. Перспектива была соблазнительная.

Еще через час пришел Юра. Вид у него был растерянный и сконфуженный. На мой вопрос, в чем дело, Юра ответил как-то туманно: потомде расскажу. Но в стремительности лагерных событий и перспектив ничего нельзя было откладывать. Мы забрались в глубину нар, и там Юра шепотом и по-английски рассказал следующее. Его уже забронировали было за административным отделом в качестве машиниста, но какой-то помощник начальника третьей части заявил, что машинист нужен им. А так как никто в лагере не может конкурировать с третьей частью, как на воле никто не может конкурировать с ГПУ, то административный отдел отступил без боя. От третьей части Юра остался в восторге: во-первых, на стене висела карта и даже не одна, а несколько; во-вторых, было ясно, что в нужный момент отсюда можно будет сперерть кое-какое оружие. Но дальше произошла такая вещь.

После надлежащего испытания на пишущей машинке Юру привели к какому-то дяде и сказали:

— Вот этот паренек будет у тебя на машинке работать.

Дядя посмотрел на Юру весьма пристально и заявил:

— Что-то мне ваша личность знакомая. И где это я вас видал?

Юра всмотрелся в дядю и узнал в нем того чекиста, который в роковом вагоне номер 13 играл роль контролера.

Чекист, казалось, был доволен этой встречей.

— Вот это здорово. И как же это вас сюда послали? Вот тоже чудаки ребята. Три года собирались и на бабе сорвались. — И он стал рассказывать прочим чинам третьей части, сидевшим в комнате, приблизительно всю историю нашего бегства и нашего ареста.

— А остальные ваши где? Здоровые бугаи подобрались. Дядюшка евонный нашему одному (он назвал какую-то фамилию) так руку ломанул, что тот до сих пор в лубках ходит. Ну-ну, не думал, что встретимся.

Чекист оказался из болтливых в такой степени, что даже проболтался про роль Бабенки во всей этой операции. Но это было очень плохо. Это значит, что через несколько дней вся администрация лагеря будет знать, что именно мы попались и, конечно, примет кое-какие меры, чтобы мы этой попытки не повторили.

А меры могли быть самые разнообразные. Во всяком случае, все наши розовые планы на побег повисли над пропастью. Нужно было уходить с Погры, хотя бы в Подпорожье, хотя бы только для того, чтобы не болтаться на глазах этого чекиста и не давать ему повода для его болтовни. Конечно, и Подпорожье не гарантировало от того, что этот чекист не доведет до сведения администрации нашу историю, но он мог этого и не сделать. По-видимому, он этого так и не сделал.

Борис сейчас же пошел к украинским профессорам форсировать подпорожские перспективы. Когда он вернулся, в наши планы ворвалась новая неожиданность.

Лесорубы уже вернулись из лесу, и барак был наполнен мокрой и галдевшей толпой. Сквозь толпу к нам протиснулись два каких-то растрепанных и слегка обалделых от работы и хаоса интеллигента.

— Кто тут Солоневич, Борис?

— Я,— сказал брат.

— Что такое oleum ricini?

Борис даже слегка отодвинулся от столь неожиданного вопроса.

— Касторка. А вам это для чего?

— А что такое acidum arsenicosum? В каком растворе употребляется acidum carbolicum?

Я ничего не понимал. И Борис тоже. Получив удовлетворительные ответы на эти таинственные вопросы, интеллигенты переглянулись.

— Годен? — спросил один из них у другого.

— Годен, — подтвердил другой.

— Вы назначены врачом амбулатории, — сказал Борису интеллигент. — Забирайте ваши вещи и идемте со мною. Там уже стоит очередь на прием. Будете жить в кабинке около амбулатории.

Итак, таинственные вопросы оказались экзаменом на звание врача. Нужно сказать откровенно, что перед неожиданностью этого экзаменационного натиска мы оказались несколько растерянными. Но дискуссировать не приходилось. Борис забрал все наши рюкзаки и в сопровождении Юры и обоих интеллигентов ушел в «кабинку». А кабинка — это отдельная комнатушка при амбулаторном бараке, которая имела то несомненное преимущество, что в ней можно было оставить вещи в некоторой безопасности от уголовных налетов.

Ночь прошла скверно. На дворе стояла оттепель, и сквозь щели потолка нас поливал тающий снег. За ночь мы промокли до костей. Промокли и наши одеяла. Утром мы, мокрые и невыспавшиеся, пошли к Борису, прихватив туда все свои вещи, слегка обогрелись в пресловутой кабинке и пошли нажимать на все пружины для Подпорожья. В лес мы, конечно, не пошли. К полудню я и Юра уже имели, правда, пока только принципиальное, назначение в Подпорожье, в УРЧ.

УРКИ В ЛАГЕРЕ

Пока все мы судорожно мотались по нашим делам, лагпункт продолжал жить своей суматошной каторжной жизнью. Прибыл еще один эшелон — еще тысячи две заключенных, для которых одежды уже не было, да и помещения тоже. Людей перебрасывали из барака в барак, пытаясь «уплотнить» эти гробообразные ящики, и без того набитые до отказа. Плотничьи бригады наспех строили новые бараки. По раскисшим от оттепели «улицам» подвозились серые промокшие бревна. Дохлые лагерные клячи застревали на ухабах. Сверху моросила какая-то дрянь — помесь снега и дождя. Увязая по колени в разбухшем снегу, проходили колонны «новичков» — та же серая рабоче-крестьянская скотинка, какая была и в нашем эшелоне. Им будет намного хуже, ибо они останутся в том, в чем приехали сюда. Казенное обмундирование уже исчерпано, а ждут еще три-четыре эшелона.

Среди людей, растерянных, дезориентированных, оглушенных перспективами долгих лет каторжной жизни, урки то вились незаметными змейками, то собирались в волчьи стаи. Шныряли по баракам, норовя стянуть все, что плохо лежит, организовали и, так сказать, массовые вооруженные нападения.

Вечером напали на трех дежурных, получивших хлеб для целой бригады. Одного убили, другого ранили, хлеб исчез. Конечно, дополнительной порции бригада не получила и осталась на сутки голодной. В наш барак — к счастью, когда в нем не было ни нас, ни наших вещей — ворвалась вооруженная финками банда человек в пятнадцать. Дело было утром, народу в бараке было мало. Барак был обобран почти до нитки.

Администрация сохраняла какой-то странный нейтралитет. И за урок взялись сами лагерники.

Выйдя утром из барака, я был поражен очень неуютным зрелищем. Привязанный к сосне, стоял или висел какой-то человек. Его волосы были покрыты запекшейся кровью. Единственным признаком жизни, а может быть, только признаком агонии, было судорожное подергивание левой ступни. В стороне, шагах в двадцати, на куче снега лежал другой человек. С этим было все кончено. Сквозь кровавое месиво снега, крови, волос и обломков черепа были видны размозженные мозги.

Кучка крестьян и рабочих не без некоторого удовлетворения созерцала это зрелище.

— Ну вот, теперь, по крайности, с воровством будет спокойнее, — сказал кто-то из них.

Это был мужицкий самосуд, жестокий и бешеный, появившийся в ответ на террор урок и на нейтралитет администрации. Впрочем, и по отношению к самосуду администрация соблюдала тот же нейтралитет. Мне казалось, что вот в этом нейтралитете было что-то суеверное. Как бы в этих изуродованных телах лагерных воров всякая публика из третьей части видела что-то и из своей собственной судьбы. Эти вспышки — я не хочу сказать народного гнева — для гнева они достаточно бессмысленны, а скорее, народной ярости, жестокой и неорганизованной, — пробегают этакими симпатическими огоньками по всей стране. Сколько всякого колхозного актива, сельской милиции, деревенских чекистов платят изломанными костями и проломленными черепами за великое социалистическое ограбление мужика. Ведь там, в глубине России, тишины нет никакой. Там идет почти ни на минуту не прекращающаяся звериная резня за хлеб и за жизнь. И жизнь в крови, и хлеб в крови. И мне кажется, что когда публика из третьей части глядит на вот этакого изорванного в клочки урку, перед нею встают перспективы, о которых ей лучше и не думать.

В эти дни лагерной контратаки на урок я как-то встретил своего бывшего спутника по теплушке Михайлова. Вид у него был отнюдь не победоносный. Физиономия его носила следы недавнего и весьма вдумчивого избиения. Он подошел ко мне, пытаясь приветливо улыбнуться своими разбитыми губами и распухшей до синевы физиономией.

— А я к вам по старой памяти, товарищ Солоневич. Махорочкой угостите.

— Вам не жалко за науку.

— За какую науку?

— А все, что вы мне в вагоне рассказывали.

— Пригодилось?

— Пригодилось.

— Да мы тут всякую запятую знаем.

— Однако запятых-то оказалось для вас больше, чем вы думали.

— Ну, это дело плевое. Ну, что? Ну, вот меня избили. Наших человек пять на тот свет отправили. А дальше что? Побуйствуют, но наша все равно возьмет: организация.

И старый пахан улыбнулся с прежней самоуверенностью.

— А те, кто убил, те уж живыми отсюда не уйдут. Нет-с. Это уж извините. Потому все это — стадо баранов, а мы — организация.

Я посмотрел на урку не без некоторого уважения.

ПОДПОРОЖЬЕ

Тихий морозный вечер. Все небо в звездах. Мы с Юрой идем в Подпорожье по тропинке, проложенной по льду Свири. Вдали, верстах в трех, сверкают электрические огоньки Подпорожья. Берега реки покрыты густым хвойным лесом, завалены мягкими снеговыми сугробами. Кое-где сдержанно рокочут незамерзшие быстрины. Входим в Подпорожье.

Видно, что это было когда-то богатое село. Просторные двухэтажные избы, рубленные из аршинных бревен, резные коньки, облезлая окраска ставень. Крепко жил свирский мужик. Теперь его ребятишки бегают по лагерю, выпрашивая у каторжников хлебные объедки, селедочные головки, несъедобные лагерные щи.

У нас обоих — вызов в УРЧ. Пока еще не назначение, а только вызов. УРЧ — учетно-распределительная часть лагеря, она учитывает всех заключенных, распределяет их на работы, перебрасывает из пункта на пункт, из отделения в отделение, следит за сроками заключения, за льготами и прибавками сроков, принимает жалобы и прочее в этом роде.

Внешне это такое же отвратительное здание, как и все советские заведения, не столичные, конечно, а так, чином пониже, какие-нибудь сызранские или царевококшайские. Полдюжины комнатушек набиты так же, как была набита наша теплушка. Столы из некрашеных, иногда даже необструганных досок. Такие же табуретки и взамен недостающих табуреток — березовые поленья. Промежутки забиты ящиками с делами, связками карточек, кучами всякой бумаги.

Конвоир сдает нас какому-то делопроизводителю или, как здесь говорят, «делопуту». Делопут подмахивает сопроводиловку.

— Садитесь, подождите.

Сесть не на что. Снимаем рюкзаки и усаживаемся на них. В комнатах лондонским туманом плавает густой махорочный дым. Доносится крепкая начальственная ругань, угроза арестами и прочее. Не то, что в ГПУ и на Погре: начальство не посмело бы так ругаться. По комнатушкам мечутся люди. Кто ищет полено, на которое можно было бы сесть, кто умоляет делопута дать ручку: срочная работа, не выполнишь — посадят. Но ручек нет и у делопута. Делопут же увлечен таким занятием: он выковыривает сердцевину химического карандаша и делает из него чернила, ибо никаких других в УРЧ не имеется. Землисто-зеленые, изможденные лица людей, сутками сидящих в этом махорочном дыму, тесноте, ругани, бестолковщине. Жуть.

Я начинаю чувствовать, что на лесоразработках было бы куда легче и уютнее. Впрочем, потом так и оказалось. Но лесозаготовки — это конвейер; только попади — и тебя потащит черт знает куда. Здесь все-таки как-то можно будет изворачиваться.

Откуда-то из дыма канцелярских глубин показывается некий старичок. Впоследствии он оказался одним из урчевских воротил товарищем Наседкиным. На его сизом носу — перевязанные канцелярской дратвой железные очки. Лицо в морщинах. В слепящихся глазах — добродушное лукавство старой, видавшей всякие виды канцелярской крысы.

— Здравствуйте. Это вы — юрист с Погры? А это — ваш сын? У нас, знаете, две пишущих машинки, только писать не умеет никто. Работы вообще масса. А работники! Ну, сами увидите. То есть, такой неграмотный народ, просто дальше некуда. Ну, идем, идем. Только вещи с собой возьмите. Сопрут, обязательно сопрут. Тут такой народ, только отвернись — сперли. А юридическая часть у нас запущена — страх. Вам над нею крепко придется посидеть.

Следуя за разговорчивым стариком, мы входим в урчевские дебри. Из махорочного тумана на нас смотрят жуткие кувшинные рыла, какие-то низколобые, истасканные, обалделые и озверелые. Вся эта губерния неистово пишет, штемпелюет, подшивает, регистрирует и ругается.

Старичок начинает рыться по полкам, ящикам и просто наваленным на полу кучам каких-то дел, призывает себе в помощь еще двух канцелярских крыс и, наконец, из какого-то полуразбитого ящика извлекает наши «личные дела» — две папки с нашими документами, анкетами, приговором и прочее. Старичок передвигает очки с носа на переносицу.

— Солоневич, Иван... так... образование... так, приговор, гм, статьи...

На слове «статьи» старичок запинается, спускает очки с переносицы на нос и смотрит на меня взглядом, в котором я читаю:

— Как же это вас, милостивый государь, так угораздило? И что мне с вами делать?

Я тоже только взглядом отвечаю:

— Дело ваше, хозяйское.

Я понимаю, положение и у старичка, и у УРЧа пиковое. С контрреволюцией брать нельзя, а без контрреволюции откуда же грамотных взять? Старичок повертится-повертится и что-то устроит.

Очки опять лезут на переносицу, и старичок начинает читать Юрино дело, но на этот раз уже не вслух. Прочтя, он складывает папки и говорит:

— Ну, так, значит, в порядке. Сейчас я вам покажу ваши места и вашу работу.

И, наклоняясь ко мне, добавляет шепотом:

— Только о статейках ваших вы не разглагольствуйте. Потом как-нибудь урегулируем.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Итак, я стал старшим юрисконсультом и экономистом УРЧа. В мое ведение попало пудов 30 разбросанных и растрепанных дел и два «младших юрисконсульта», один из коих до моего появления на горизонте именовался старшим. Он был безграмотен и по старой, и по новой орфографии, а на мой вопрос об образовании ответил мрачно, но маловразумительно:

— Выдвиженец.

Он бывший комсомолец. Сидит за участие в коллективном изнасиловании. О том, что в советской России существует такая вещь, как уголовный кодекс, он от меня услышал первый раз в своей жизни. В ящиках этого «выдвиженца» скопилось около 4000 (четырех тысяч!) жалоб заключенных.

И за каждой жалобой чья-то живая судьба.

Мое «вступление в исполнение обязанностей» совершилось таким образом. Наседкин ткнул пальцем в эти самые тридцать пудов бумаги, отчасти разложенной на полках, отчасти сваленной в ящики, отчасти валяющейся на полу, и сказал:

— Ну, вот. Это, значит, ваши дела. Ну, тут уж вы сами разбирайтесь, что — куда.

И исчез.

Я сразу заподозрил, что и сам-то он никакого понятия не имеет «что — куда» и что с подобными вопросами мне лучше всего ни к кому не обращаться. Мои «младшие юрисконсульты» как-то незаметно растаяли и исчезли, так что только спустя пять дней я пытался было вернуть одного из них в лоно «экономически-юридического отдела», но от этого мероприятия вынужден был отказаться: мой «пом» оказался откровенно полуграмотным и нескрываемо бестолковым парнем. К тому же его притягивал «блат» — работа в каких-то закоулках УРЧа, где он мог явственно распорядиться судьбой хотя бы кухонного персонала и поэтому получать двойную порцию каши.

Я очутился наедине с тридцатью пудами своих дел и лицом к лицу с тридцатью кувшинными рылами из так называемого советского актива. А советский актив — это вещь посерьезнее ГПУ.

ОПОРА ВЛАСТИ

«ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ К МАССАМ»

Картина нынешней российской действительности определяется не только директивами верхов, но и качеством повседневной практики тех миллионных «кадров» советского актива, которые для этих верхов и директив служат «приводными ремнями к массам». Это крепкие ремни. В административной практике последних лет двенадцати этот актив был подобран путем своеобразного «естественного отбора», спаялся в чрезвычайно однотипную прослойку, в высокой степени вытренировал в себе те, вероятно, врожденные качества, которые определили его катастрофическую роль в советском хозяйстве и в советской жизни.

Советский актив — это и есть тот загадочный для внешнего наблюдателя слой, который поддерживает власть крепче и надежнее, чем ее поддерживает ГПУ, единственный слой русского населения, который безраздельно и до последней капли крови предан существующему строю. Он охватывает низы партии, некоторую часть комсомола и очень значительное число людей, жаждущих партийного билета и чекистского поста.

Если взять для примера, очень, конечно, не точного, аутентичные времена Угрюм-Бурчеева, скажем, времена Аракчеева, то и в те времена страной, т. е. в основном крестьянством, правили не третье отделение и не жандармы и даже не пресловутые 10 000 столоначальников. Функции непосредственного обуздания мужика и непосредственного выколачивания из него прибавочной стоимости выполняли всякие «незаметные герои», вроде бурмистров, приказчиков и прочих, действовавших кнутом на исторической «конюшне» и кулачищем во всяких иных местах. Административная деятельность Угрюм-Бурчеева прибавила к этим кадрам еще по шпиону в каждом доме.

Конечно, бурмистру крепостных времен до активиста эпохи «загнивания капитализма» и пролетарской революции, как от земли до неба. У бурмистра был кнут, у активиста пулеметы, а в случае необходимости и бомбовозы. Бурмистр выжимал из мужицкого труда сравнительно ерунду, активист отбирает последнее. «Финансовый план» бурмистра обнимал в среднем нехитрые затраты на помещичий пропой души; финансовый план активиста устремлен на построение мирового социалистического города Непреклонска и в этих целях на вывоз за границу всего, что только можно вывезти. А так как, по тому же Щедрину, город Глупов, будущий Непреклонск, «изобилует всем и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет», отчего торговый баланс всегда склоняется в его пользу, то и взимание на экспорт идет в размерах, для голодной страны поистине опустошительных.

Советский актив был вызван к жизни в трех целях: «соглядатайство, ущемление и ограбление». С точки зрения Угрюм-Бурчеева, заседающего в Кремле, советский обыватель неблагонадежен всегда, начиная со вчерашнего председателя мирового Коммунистического Интернационала и кончая последним мужиком, колхозным или не колхозным, безразлично. Следовательно, соглядатайство должно проникнуть в мельчайшие поры народного организма. Оно и проникает. Соглядатайство без последующего ущемления бессмысленно и бесцельно, поэтому вслед за системой шпионажа строится «система беспощадного подавления». Ежедневную малозаметную извне рутину грабежа, шпионажа и репрессий выполняют кадры актива. ГПУ только возглавляет эту систему, но в народную толщу оно не допускается: не хватило бы никаких «штатов». Там действует исключительно актив, и он действует практически бесконтрольно и безапелляционно.

Для того, чтобы заниматься этими делами из года в год, нужна соответствующая структура психики; нужны, по терминологии опять же Щедрина, «твердой души прохвосты».

РОЖДЕНИЕ АКТИВА

Родоначальницей этих твердых душ, конечно, не хронологически, а, так сказать, только психологически, является та же пресловутая и уже ставшая нарицательной пионерка, которая побежала в ГПУ доносить на свою мать. Практически не важно, из каких соображений она это сделала, то ли из идейных, то ли мать просто в очень уж недобрый час ей косу надрала. Если после этого доноса семья оной многообещающей девочки даже и уцелела, то ясно, что все же в дом этой пионерке ходу больше не было. Не было ей ходу и ни в какую другую семью. Даже коммунистическая семья, в принципе поддерживая всякое соглядатайство, все же предпочтет у себя в доме чекистского шпиона не иметь. Первый шаг советской активности ознаменовывается предательством и изоляцией от среды. Точно такой же процесс происходит и с активом вообще.

Нужно иметь в виду, что в среде «советской трудящейся массы» жить действительно очень неуютно. Де-юре эта масса правит «первой в мире республикой трудящихся»; де-факто она является лишь объектом самых невероятных административных мероприятий, от которых она в течение 17 лет не может ни очухаться, ни поесть досыта. Поэтому тенденция вырваться из массы, попасть в какие-нибудь, хотя бы относительные верхи, выражена в СССР с исключительной резкостью. Этой тенденцией отчасти объясняется и так называемая «тяга к учебе».

Вырваться из массы можно, говоря схематически, тремя путями: можно пойти по пути «повышения квалификации», стать на заводе мастером, в колхозе, скажем, трактористом. Это не очень многообещающий путь, но

все же и мастер, и тракторист питаются чуть-чуть сытнее массы и чувствуют себя чуть-чуть в большей безопасности. Второй путь — путь в учебу, в интеллигенцию — обставлен всяческими рогатками и в числе прочих перспектив требует четырех-пяти лет жуткой голодовки в студенческих общежитиях с очень небольшими шансами вырваться оттуда без туберкулеза. И, наконец, третий путь — это путь общественно-административной активности. Туда тянется часть молодняка, жаждущая власти и сытости немедленно, на «бочку».

Карьерная схема здесь очень несложна. Советская власть преизбыточествует бесконечным числом всяких общественных организаций, из которых все без исключения должны «содействовать». Как и чем может общественно содействовать кандидат в активисты?

В сельсовете или профсоюзе, на колхозном или заводском собрании он по всякому поводу, а также и без всякого повода начнет выскакивать этаким Петрушкой и распинаться в преданности и непреклонности. Ораторских талантов для этого не нужно. Собственных мыслей — тем более, ибо мысль, да еще и собственная, всегда носит отпечаток чего-то недозволенного и даже неблагонадежного. Такой же оттенок носит даже и казенная мысль, но выраженная своими словами. Поэтому-то советская практика выработала ряд строго стандартизированных фраз, которые давно уже потеряли решительно всякий смысл: беспощадно борясь с классовым врагом (а кто есть ныне классовый враг?), целиком и полностью поддерживая генеральную линию нашей родной пролетарской партии (а что есть генеральная линия?), стоя на страже решающего и завершающего года пятилетки (а почему решающий и почему завершающий?), ну, и так далее. Порядок фраз не обязателен; главное предложение может отсутствовать вовсе. Смысл отсутствует почти всегда. Но все это вместе взятое создает такое впечатление:

— Смотри-ка! А Петька-то наш в активисты лезет.

Но это только приготовительный класс активности. Для дальнейшего продвижения активность должна быть конкретизирована, и вот на этой-то ступени получается первый отсев званых и избранных. Мало сказать, что мы-де, стоя пнями на страже и т. д., а нужно сказать, что и кто мешает нам этими пнями стоять. Сказать, что мешает, — дело довольно сложное. Что мешает безотлагательному и незамедлительному торжеству социализма? Что мешает «непрерывному и бурному росту благосостояния широких трудящихся масс» и снабжению этих масс картошкой, не гнилой и в достаточных количествах? Что мешает выполнению и перевыполнению «промфинплана» нашего завода? Во-первых, кто его разберет, а во-вторых, при всяких попытках разобраться всегда есть риск впасть не то в уклон, не то в загиб, не то даже в антисоветскую агитацию. Менее обременительно для мозгов, более рентабельно для карьеры и совсем безопасно для собственного благополучия вылезти на трибуну и ляпнуть:

— А по моему, пролетарскому, рабочему мнению, план нашего цеха срывает инженер Иванов. Потому как он, товарищи, не нашего пролетарского классу: евонный батька поп, а сам он — кусок буржуазного интеллигента.

Для инженера Иванова это не будет иметь решительно никаких последствий: его ГПУ знает и без рекомендации нашего активиста. Но некоторый политический капиталец наш активист уже приобрел: болеет, дескать, нуждами нашего пролетарского цеха и перед доносом не остановился.

В деревне активист ляпнет о том, что «подкулачник» Иванов ведет антиколхозную агитацию. При таком обороте подкулачник Иванов имеет очень много шансов поехать в концлагерь. На заводе активист инженера, пожалуй, укусить всерьез не сможет, потому и донос его ни в ту, ни в другую сторону особых последствий иметь не будет, но своего соседа по цеху он может цапнуть весьма чувствительно. Активист скажет, что Петров сознательно и злонамеренно выпускает бракованную продукцию, что Сидоров — лжеударник и потому не имеет права на ударный обед в заводской столовке, а Иванов-седьмой сознательно не ходит на пролетарские демонстрации.

Такой мелкой сошкой, как заводской рабочий, ГПУ не интересуется, поэтому что бы тут ни ляпнул активист, это, как говорят в СССР, будет взято на карандаш. Петрова переведут на низший оклад, а не то и уволят с завода. У Сидорова отымут обеденную карточку. Иванов-седьмой рискует весьма неприятными разговорами, ибо, как это своевременно было предусмотрено Угрюм-Бурчеевым, «праздники отличаются от будней усиленным упражнением в маршировке», и участие в оных маршировках для обывателя обязательно.

Вот такой «конкретный донос» является настоящим доказательством политической благонадежности и открывает активисту дальнейшие пути. На этом этапе спотыкаются почти все, у кого для доноса душа недостаточно тверда.

Дальше активист получает конкретные, хотя еще и бесплатные задания, выполняет разведывательные поручения комячейки, участвует в какой-нибудь легкой кавалерии, которая с мандатами и полномочиями этаким табунком налетает на какое-нибудь заведение и там, где раньше был просто честный советский кабак, устраивает форменное светопреставление; изображает «рабочую массу» на какой-нибудь чистке (рабочая масса на чистки не ходит) и там вгрызается в заранее указанные комячейкой икры, выуживает прогульщиков, лодырей, вредителей-рабочих, выколачивает мопровские или осоавиахимовские недоимки. В деревне, помимо всего этого, активист будет ходить по избам, вынюхивать запиханные в какой-нибудь рваный валенок пять — десять фунтов не сданного государству мужицкого хлеба, выслеживать всякие антигосударственные тенденции и вообще доносительствовать во всех возможных направлениях. Пройдя этакий искус и доказав, что душа у него действительно твердая, означенный прохвост получает, наконец, портфель и пост.

НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОПРИЩЕ

Пост этот обыкновенно из паршивеньких. Но чем больше будет проявлено твердости души и непреклонности характера перед всяким человеческим горем, перед всяким человеческим страданием, перед всякой человеческой жизнью, тем шире и тучнее пути дальнейшего поприща. И вдали, где-нибудь на горизонте, маячат путеводной звездой партийный билет и теплое место в ГПУ.

Однако и в партию, и в особенности в ГПУ принимают не так, чтоб уж очень с распростертыми объятиями, туда попадают только избранные из избранных. Большинство актива задерживается на средних ступеньках — председатели колхозов и сельсоветов, члены заводских комитетов профсоюзов, милиция, хлебозаготовительные организации, кооперация, низовой аппарат ГПУ, всякие соглядатайские амплуа в домкомах и жилкомах и прочее. В порядке пресловутой текучести кадров наш активист, точно футбольный мяч, перебрасывается из конца в конец страны, по всяким ударным и сверхударным кампаниям, хлебозаготовкам, мясозаготовкам, хлопкозаготовкам, бригадам, комиссиям, ревизиям. Сегодня он грабит какой-нибудь украинский колхоз, завтра вылавливает кулаков на Урале, через три дня руководит налетом какой-нибудь легкой гиппопотамии на стекольный завод, ревизует рыбные промыслы на Каспии, расследует «антигосударственные тенденции» в каком-нибудь совхозе или школе и всегда, везде, при всяких обстоятельствах своей бурной жизни вынюхивает скрытого врага.

Приказы, директивы, установки, задания, инструкции мелькают, как ассоциации в голове сумасшедшего. Они сыплются на активиста со всех сторон, по всем линиям — партийной, административной, советской, профсоюзной, хозяйственной. Они создают атмосферу обалдения, окончательно преграждающего доступ каких бы то ни было мыслей и чувств в и без того нехитрую голову твердой души прохвоста.

Понятно, что люди мало-мальски толковые по активистской стезе не пойдут: предприятие, как об этом будет сказано ниже, не очень уж выгодное и достаточно рискованное. Понятно также, что в атмосфере грабежа,

текучести и обалдения никакой умственности актив приобрести не в состоянии. Для того, чтобы раскулачить мужика даже и до самой последней нитки, никакой умственности, по существу, и не требуется. Требуются стальные челюсти и волчья хватка, каковые свойства и вытренировываются до предела. Учиться этот актив времени не имеет. Кое-где существуют так называемые совпартшколы, но там преподают ту науку, которая в терминологии щедринских знатных иностранцев обозначена как prom pobieda razdavaissa — разумеется, в марксистской интерпретации этого грома. Предполагается, что «классовый инстинкт» заменяет активисту всякую работу сообразительного аппарата.

Отобранный по признаку моральной и интеллектуальной тупости, прошедший многолетнюю школу грабежа, угнетения и убийства, спаянный беспредельной предайностью власти и беспредельной ненавистью населения, актив образует собою чрезвычайно мощную прослойку нынешней России. Его качествами, врожденными и благоприобретенными, определяются безграничные возможности разрушительных мероприятий власти и ее роковое бессилие в мероприятиях созидательных. Там, где нужно раскулачить, ограбить и зарезать, актив действует с опустошительной стремительностью. Там, где нужно что-то построить, актив в кратчайший срок создает совершенно безвылазную неразбериху.

На всякое мановение со стороны власти актив отвечает взрывами энтузиазма и вихрями административного восторга. Каждый очередной лозунг создает своеобразную советскую моду, в которой каждый активист выворачивается наизнанку, чтобы переплюнуть своего соседа и проползти вверх. Непрерывка и сверхранний сев, бытовые коммуны и соцсоревнование, борьба с религией и кролиководство — все сразу охватывается пламенем энтузиазма, в этом пламени гибнут зародыши здравого смысла, буде такие и прозябали в голове законодателя.

Когда в подмогу к остальным двуногим и четвероногим, впряженным в колесницу социализма, был впряжен этаким коренником еще и кролик, это было глупо, так сказать, в принципе. Кролик — зверь в нашем климате капризный, кормить его все равно было нечем, проще было вернуться к знакомым населению и притерпевшимся ко всем невзгодам русской жизни свинье и курице. Но все-таки кое-чего можно было добиться и от кролика, если бы не энтузиазм.

Десятки тысяч активистов вцепились в куцый кроличий хвост, надеясь, что этот хвост вытянет их куда-то повыше. За границей были закуплены миллионы кроликов за деньги полученные за счет вымирания от бескормицы свиней и кур... В Москве, где не то что кроликов, и людей кормить было нечем, «кролиководство» навязывали больницам и машинисткам, трестам и домашним хозяйкам, бухгалтерам и даже horribile dictu церковным приходам. Отказываться, конечно, было нельзя: неверие, подрыв, саботаж советских мероприятий. Кроликов порастыкали по московским квартирным дырам, и кролики передохли все. То же было и в провинции. Уже на закате дней кроличьего энтузиазма я как-то «обследовал» крупный подмосковный кролиководческий совхоз, совхоз показательный и весьма привилегированный по части кормов. С совхозом было неблагополучно, несмотря на все его привилегии: кролики пребывали в аскетизме и размножаться не хотели. Потом выяснилось: на семь тысяч импортных бельгийских кроликов самок было только около двадцати. Как был организован этот кроличий монастырь, то ли в порядке вредительства, то ли в порядке головотяпства, то ли за границей закупали кроликов вот этакие энтузиасты — все это осталось покрытым мраком социалистической неизвестности.

Теперь о кроликах уже не говорят. От всей этой эпопеи остался десяток анекдотов, да и те непечатны.

Продолжение следует

Александр Педан

Колокольный звон

Как над городом колокольный звон
поднимался ввысь от глухих окон.
Отрешен и чист от оков людских
в вышине небес одинокий стих.
Как стремился я к вышине такой,
да увяз в делах, в суете мирской.
Словно детский сон нерассказанный,
да года на нем в узел связаны.
Там, по синему, вышит крестиком
золотой лучок кверху пестиком.
А внизу стоят убеленные
люди старые умудренные.
В окнах жалобно дребезжит стекло.
Колокольным звоном меня влекло.
Куполам за всех я раскланялся,
а в глазах моих мир туманился.
И разрушилась предо мной стена...
Колокольный звон, унеси меня!
Чтоб душа моя освятилася
И земля бы мной окропилася.
Виден блеск вдали чиста золота.
Колокольный звон не от молота.
Купола мои поднебесные
помянут меня в дни воскресные!
Сон! Мне снился сон...
Колокольный звон.

Анатолий Шипулин

Руки

Вот на груди навек сложила
Свои натруженные руки
Моя соседка баба Мила.
— Прибралась, — говорят подруги.

— Проводим на бессрочный отдых.
А там — и мы. Не разом только...
Горит свеча, колебля воздух.
Стучит в окошко ветка тонко.

Темны запястья.
Будто корни,
Набухли на запястьях жилы.
И на груди лежат покорно
В мозолях руки бабы Милы.

Не белы рученьки, что в кольцах,
Ногтями блещущие ало...
Мороз выкручивал их,
Солнце
Лавиной знойной обжигало.

Они рубили и косили,
Тянули плуг,
Пололи поле.
По ним историю России
Читать бы нашим детям в школе.

Без них померкло б государство,
Погасли б звезды, стихли звуки...
Национальное богатство
И жизни сила — эти руки.

Над обрывом

Горстка крыш у реки.
Лес в осенних рубинах.
А с небес по обрыву —
Дождей развеселая прыть...
Ты в районе, мой хутор,
зовешься глубинкой.
И твое назначение — город кормить.
Только тяпки твои и на ферме доенки
Больше некому брать —
тишина и покой.
И стоят у обрыва скворешни-хатенки,
Чьи наполнены окна
смертельной тоской.
Что ж так стены твои
нищета подкосила?
Отуманилось что и померкло лицо?
Смотрит с кручи усадьба
колхоза «Россия», —
С каждым годом все ближе к обрыву
Крыльцо...
Сколько пышных сияло словес
над тобою?
Сколько копий ломалось
над полем твоим?
Реформаторы судьи
Доныне твоею судьбою
Так играют, как дети —
котенком живым.
Гнут указом тебя,
Хлещут окриком резким,
Ублажают сиропом газетных похвал,
Чтобы сделать тебя
дурачиной вселенским:
Чтобы знал свой шесток,
Да поболе пахал...
Низко тучи плывут
На примолкнувший хутор.
Все настырнее ветра ехидного прыть.
И заморской стряпней
Оглушает поля репродуктор,
Что вчера еще пел:
«...И счастливей, и радостней жить».
А над самым обрывом
тоскуют хатенки,
Вспоминают
Как в окна сквозь льдинки стекла
В них глядели когда-то
Ребячьи глазенки,
И земля за оградой ждала их тепла.
...Но гремит репродуктор.
И песни чужие
Над размытым обрывом
Бестолково кружат.



Владимир Личутин

Владимир Личутин — один из самых ярких и талантливых художников слова современной России, как сказала о нем на VII съезде российских писателей Т. М. Глушкова.

С 1972 года им опубликовано четыре романа и более десяти повестей, которые стали заметным событием в литературной жизни страны.

Мы знакомим читателей с отрывком из нового романа «Раскол», который писатель предоставил специально «Кубани» для первопубликации.

ИКОНОБОРЕЦ

ИЗ РОМАНА «РАСКОЛ»

ИЗ ХРОНИК: ...Во время приготовления к походу Никон из своих патриарших средств десять тысяч рублей челом ударил на подъем ратным людям. По его распоряжению с монастырей собирался и ссылался в армию хлеб, назначал подводы и лошадей, строил боевые топорки, бердыши, длинные пищали для пехоты, посылал ратных людей к Динабургу, посылал мнение к царю, где и как войску действовать.

Царь зивязывил переговоры с литовским гетманом Радзивиллом, перешедшим на сторону шведского короля, и по этому случаю Никон писал царю: «Чтобы Радзивилла не призывать, а ево и так Бог предаст».

Посылал царю благословение идти походом на Минск и Вильну, чтоб за ним не только Вильна была, но чтобы он добывал себе и Варшаву, и Краков, и всю Польшу; писал, что послал в полк Петру Потемкину донских казаков, чтобы они морем напали на Стокгольм и другие места, в видах заставить шведов оставить прибалтийский край.

1.

Боже, храни русского человека.

Страшнее всего православному потерять душу, ибо она заветный ключ в Христово царство, и, обитая на земле в юдоли, устремлена горе, а не долу, постоянно рвется в лазурное небо, где вечная ей уготована благодать. И над чем бы ни пекся поселянин в короткую земную бытность, копя гобину и всякие сокровища, украшая хорома и домашний уряд, заботясь о ближних чадах и домочадцах,— все эти хлопоты до смертного часа лишь на устроение души.

А коли вседнева страх утратить душу соблазнам, что толкутся непременно подле, то и уповает русич с неслабнущей надеждою в хрустальный Господний храм, ибо должен в том вертограде найтись его зоркий защитник. Верьте, есть, есть у каждого православного неутомимый ангел, что дозорит с первого и до последнего вздоха. Не напрасно уверяет премудрый Епифаний, де есть ангел облаков и мглы, снега и града, мороза и грома, ангелы зимы и зноя, весны и лета, у преисподней тьмы и у сущей в безднах земли, ангел ветра и ночи, света и дня: ко всяким тварям ангелы приставлены.

Но противу всякого ангела разбойно пасется орда нежити, беря приступом всякое смиренное житьишко: и чтобы не пропасть молитвеннику, не заблудиться во гресех, не утратить божеского обличья — есть и домашняя броня, что ниспослана Господом для вашего спасения на всякое время: это икона и молитва.

Икона пуще высокой ограды боронит от беса вашу душу. И потому пред входом в каждую холопскую избенку, крытую дерном иль берестою, над дверью в брусяные хоромы и белокаменные палаты, над крепостными вратами и пред царским Красным крыльцом, у входа в питейный двор и охотничий лабаз в суземке, на тябле в бревенчатой скрытне и путевой часовенке, над всяким спальным местом в дому и над прилавками торгового ряда, в богадельне и городской мыльне, на стенах тысячей тысяч церквей и над усыпальницами государей, на речной насаде, поднимающейся вверх по реке на тягловой лямке, и в соляной варнице, в тюремном доме и рыбацком становье, в разбойном таборе и на казацком майдане в писчей избушке, у лобного места на Болоте и в печурах подземных скудельниц — везде негасимо и кротко взирает на вас с любовью желанный лик...

Цка, доска, икона, образ, лик...

Из одного дерева лопата и икона, но...

Икона встречает и провожает на всем крестном пути от края и до края русской земли: и идя под свадебным венцом, иль в похоронном скорбном платне вслед за гробом, всяк православный невольно медлит пред каждою иконою, встреченной на пути, и сотворит крестное знамение.

Медная иконка посадского литья, иль липова досточка усердного изуграфа-постника непременно на груди у всякого солдата, стрельца и ратника под зипуном, кафтаном иль сермягою: она живет под исподней холщовой рубахою на подвздошье, постоянно напоминая о себе, о Господе, о доме родном и родителях, о близкой смерти, что надобно достойно принять; и в каждый день военного похода, найдя тихую минуту и укромное уединенье, ставит православный иконку на придорожный камень, иль в чистом поле на пестерек, набитый немудрящим походным скарбом, иль на березовый окомелок и усердно молится Богородительнице и заступленнице, прося защиты. И с каждым молитвенным словом светлеет и мягчеет душа, отряхаясь, освежаясь от суровой походной накипи. Далеко растянулося войско Алексея Михайловича, неутомимо стремясь под Смоленск на ляха, и многие из пищальников, рейтар и драгун, и стрельцов, и наймованных солдат, и простых смердов в кольчужках, кованых в сельских горнах, падут на стенах крепости и вместе с иконкою будут погребены в сырую мать-землю. Ночами долго не спит государь в своем ковровом шатре, молясь за святую Русь и прося победы над костельником-супостатом, испоганившим христианскую веру.

Издревле лик на русской иконе тончаво-постный и безмятежно-неукорливый, на нем печать вечного блаженства. Святой угодник пребывает в вечности, его не волнуют земные страсти, он отринул от себя всякую житейскую печаль; угодник наш всевечно жив, как мимолетно живой христовенький, и, поселяясь в каждой доброрадной, богопоклончивой избе, угодник становится учителем, неуступчивым наставником во всяком добром деле, что по-доброму отзывается на душе, изгоняет из нее хмару. Вот и Богородица наша пресветлая — не призрак какой, не воображение художного ума, не нравоучительный урок, хотя бы и благочестивый и возвышенный, но она живая, еще более живая, чем мы сами; и через явление Ее прославленных икон в Казани и Смоленске, Тихвине и во многих городах, селах и погостах, и урочищах ощущается ее повсеместное присутствие на земле. Вот года с два тому явилась икона Пречистыя Богородицы на Оковце, в лесу чистом, на сосне на сучке, и в то лето хлеб был дешев, кадь ржи продавали по четыре московки, а лето было ведрено и красно, и не засушливо, и всяким овощам плодовито, а от поля тишина была, а людям здравие было и всякому скоту плод.

В иконе нет отвлеченных красот и житейской суетности, и чувственных зовов грешной плоти нашей; она куда больше красоты — ибо вся Дух. Святая икона — это источник духовный, целебный душе и телу, это река неисчерпаемая, точащая живую воду. Безочтивым она дает зрение, глухим — благоглаголание, хромым — хождение, прокаженным — очищение, беснующимся — целомудрие. Пречистая икона бесов прогоняет и лица нечестивых омрачает; не терпит нежить ее, боится и бежит прочь, и исчезает...

Потому к иконе такое глубокое почтение. Иконник, прежде чем начать труд свой бессонный, изнуряет себя постом, чтобы изжелта-светлым обличьем с голубыми обочьями и нездешним покоем в заглубившихся кротких глазах походить на святого угодника. По обыкновению писатель — молитвенник неустанный; допоздна живет в его келейце свеча, а уж часа через два после куровозглашения наш изуграф опять на ногах, растирает краски, подливая в них святой воды, а то и подмешивает частички святых мощей. Ночь черна, непроницаема во все концы света, и за слюдяной шибкой в четвертушку листа нет-нет да и всхохочет луканька, зажгутся зоркой зеленью чужие глаза; встрепещет, содрогнувшись от внезапного сквозняка, восковой огарыш, и снова завладеет миром всемесгная тишина. В эти минуты и навещает труждающегося живописца благодать творения и праздник духа.

Иконник — не табашник и вина не пьет, не дерзит монастырским старцам и властям, и бежит напрасного гнева; взгляд его тал, истончен, ласков и направлен внутрь себя, в самую душу, откуда нескончаемыми молитвами он и изымает образ угодника...

Оскорбить святой лик — великий грех. Неприлично не только оказаться пред иконою в шапке, но и, умащиваясь ко сну, класть ноги на лавке в сторону тябла. В пожар прежде спасают образа, а после и прочий живот, но если икона в войну попала в руки ворогу, то за дорогую цену освобождают ее из плена. Грешно сказать, что икона куплена, но говорят, де икона выменена на деньги. Если погибает на пожаре, то не повернется язык сказать, что икона сгорела, но «вознеслась на небо». Считается кощунною вешать иконы на гвозди, поэтому ставят на полицу, иль в печуру. Если икона по ветхости не может более служить, ее не выбрасывают и не сжигают, но иль пускают в реку, иль закапывают глубоко в землю на кладбище, или в саду, и самое то место охраняют от всего нечистого.

Ибо поругание икон навлекает гнев Божий.

Напрасно народ полагает, что властители правят с царского трона, с площадного примоста, из бранного шатра иль амвона: многознатливые вершат государскую жизнь из уединенья кельи, кабинетной палаты, из крестовой и моленной; лишь созерцание и тишина дают току мыслей искреннее и верное русло...

Всяк на Руси блажит свою икону, что идет по роду-племени и по наследству. Свою защитницу и в церковь на службы носят, так издревле повелось, и в то время все храмовые стены от алтаря до притвора бывают уставлены образами, и всяк кланяется родному святому угоднику, защитнику очага и живота семейного: ну, то и ладно, нельзя покушаться на отеческие корни, подрубать их, лишая соков родовое древо; но то худо, что всяк в церкви ведет себя вольно, не целомудренно, и тем не только клир и чин, но и самого Господа невольно не чтят, ибо, кланяясь своему угоднику, кто спиной стоит к алтарю, кто боком, в то время плохо ведая канон, и оттого согласия в молитве нет, и в пении разброд; вот и творятся прихожанами частые кощуны без всякого умысла.

А в последнее время завелось и того чище и мудренее: попривыкли хвалиться своими щедротами, кто краснее, богаче обрядит домашнего Учителя в златые и серебряные ризы, словно бы сиянье от дивно усаженного оклада невольно падает и на лицо владельца. А иные и тем гордиться стали, что их иконы сильно разнятся от родительских, писаные богомазами в чужих землях фрянским обычаем. Если в православной иконе всякие чувства тончавы, а лики измождены примерным постом и трудами во славу Господа, то на еретических привозных досках угодники, словно люди земные, отягощенные грехами — толсторожи и толстобрюхи, а ноги и руки, будто стулцы.

Вот он, яд-то сатанинский, неслышно проникает сквозь рубежи и вливается в жадное до чужебесия и поклончества, спесивое и прелиха сытое от хрестьянских покорливых щедрот боярское сердце. Ах-ах-ах... Ну запрещу я, Никон, носить свои образа в церковь; запретял колготиться, шуметь в храме ибо ведут себя неразумно, яко дети на игрище; прогнал на паперть прочь нищих и бесноватых; запретил многогласную службу вести, когда псалмы и псалтири поют священницы в пять и шесть голосов разом без пропусков, чтобы и церковный устав соблюсти, но и службу поскорее закруглить; запретил кланяться земно и прелиха падать на колени зряшно, как то делают поганые. Но какими всесильными дозорами перекрыть тех секретных лазутчиков, что копытят не токмо русские земли, но наши души? Как беречься от лукавых промышленников?

...Ведь как научал меня желтоводский старец, я за те наставления и поныне в ноги ему паду. Не высокоумствуй, отрок... Да-да, так и толковал: не высокоумствуй! Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, но учуся книгам благодатного закона, как бы можно душу мою грешную очистить от грехов... Аще не учен диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе имею. К благодати ведет череда истинных знаний: со смирением, со ступеньки на ступеньку карабкайся по высокой лестнице трудов нескончаемых, чтобы после, как миром помазали, как бы малаксой опечатало лоб твой сим разумом Христовым, что поселится вдруг в душе по долгому размышлению в постной, многотерпеливой жизни.

А нынче-то как потрафили себе высокоумные, вовсе расповадились, взяв за образец Запад: привыкли в золоченых каретах ездить в чужом платье, да рыло стричь, отвергая заповеди великих подвижников Павла Фивейского и святого Онуфрия, что имели бороды до колен. Ой, рано забыли остерег, что на страшном суде одну сторону встанут бесермены и еретики, люторы и поляки и иные подобные брадобритенники. Ибо обрить бороду — это лишиться образа Божия.

Только дай поклончивым початки, не догляди суровым евангельским законом, не призови к исповеди раз-другой — там он и сам себе суд, вровень с Богом самим. Распушат усы-ти котовьи, брадобритенники, да и намаслят взоры на затхлый запад к лягушатникам и конеедам (прости их Всевышний), что грехи свои у Господа выкупают за злато, чтобы сладко было есть и спать на этой земле. Многопировствуют, адовы псы, хотят в утехе и довольстве встретить судный день, словно бы их не остановят на том свете жупелом огненным и лютым расспросом: жируют, ублажают вонявую утробу, с того и иконы-то у них по своему обличью мазаны жадным до талеров бесовым притворщиком.

...Куда дальше ехать, ежели царев дядя Никита Иванович Романов, первый потатчик немцам и слугам своим пошил шутовские ливреи; а свояк государев Борис Иванович Морозов одел своего воспитанника в немецкое платье, палаты каменные сострoил, обив стены золотыми кожами бельгийской работы, да и весь быт у него на иноземный лад, а за вечерней вытью немчин играет на органе и в трубы трубит; нынче же не о Боге печется боярин, держа духовника лишь для отвода глаз, и не про то горюет, как бы греси изжить, а жалится горько прилюдно, де одна печаль сердце точит, что вот упустил, не получил в молодых летах европейских наук. А начальник посольского приказа Ордын-Нащокин до того доучил своего сына, что, отуманившись ересью и посулами, соскочил парень в чужие земли, отказался от родины... А куда совратился дьячий сын Артемон Матвеев? А Голицын Василий? Иль тот же богомольщик

усердный Федор Ртищев? Устроил под Москвою Андреевский монастырь свез на свой счет из Малороссии до тридцати ученых монасей, набрал вольную школу из недорослей, да и сам вступил в учебу, все ночи проводя за философией и риторикой с Епифанием Славинецким...

Ну что с того, что сселил я иноземцев за Яузу? Они уже развезли по народу любостайные приманки свои, растрясли по стогнам и московским улицам лукавства и кови, и всякие прелести, соблазняя роскошеством жизни слабый народишко и ломая старопрежние привычки... Затопило престольную множеством инородников, они дурачат нас и за нос водят, больше того — сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают, себя считают богами, а нас дураками.

Куда свет-царь смотрит, дивясь чужим вещам и сам неприметно впадая в соблазн? И неуж не чует, сердешный, как развратились ближние бояре его, привыкнувшие ездить в иноземных каретах, окованных чистым серебром и обтянутых золотою парчою; как презирают свое домашнее житье и с довольностью утопают в чужих нравах. Не заметят того, что и самих-то пожрут с потрохами греческие и немецкие купцы да крымские разбойники.

И с чего бы это ревнители благочестия так злобятся на меня, де я Русь хочу отдать в откуп за тридцать сребреников и дареную царскую ризу? Да я за державу голову сложу под топор; но и за веру истинную стеною встану и всякого под ноги стопчу без милости, кто воспротивится на меня и полезет с рогатиной... Ополчаются-то протопопы из зависти лишь, что я поперед их встал Божьим соизволом и государевой милостью, что Бог пометил меня, как сына родного своего. Но я глупостей их не потерплю, предерзостей всяких, гордыни и самовлюбленности, с коей взирают они на искривленную ересью православную церковь. Дом похилился, и подворье в упадок пришло, а они грызутся, кому первей быти, да кому править. Порядка не ведают, кощунники, истинного Христа порастеряли в злословьях, но зато прочат себя самовольно в пастыри, не стыдясь варварской евангельской темноты своей. Учат с амвона, а сами-то язычники. Ишь, разбойники, решили рядом с батькой сести, да батькой и погонять. А я, вот, ваш-то норов с кореньем выдеру, да призову к порядку, чтоб знали чин свой. Надулись, как дождевые грибы, а надави плеснею — лишь дым да вонь. Ах ты, прости Господи. И я-то нынче худой вовсе, расклеился и рассопливился, волгрями и жидью облился. Иверская заступница, золотая смоковница наша, поддержи упадающую в сомнениях нищую и безвольную, грешную душу мою.

...Если дожили до чести, что господа всесилые, подпирающие престол русский, поклоняются лживым образам, то какой веры и чести можно ждать от простого смерда, упадающего на дно кабалы и скорби. Потрафляете, господа, поклончивому до разврата сердцу своему и не хотите видеть, как порушается под вами жиденький евангельский мосток.

Нет и нет, никогда боярский спесивый глаз не увидит меня, кир Никона, согбенным, иль устрашившимся, просящим из горсти чужой милостыньки: приклониться святителю к руке дающей, как к гремучему студенцу, дарующему испить благодати — это впасть в непрощаемый грех: но помните, всесилые, от моей немилости не спасут вас и золотые брони.

...Но возможно ли, Господи, чтобы четыре предерзких протопопа замутили Русь?

«...Мы вступили в день своего въезда в Москву на путь усилий для перенесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания, совершенства и благонравия, почтительного страха и молчания. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали за нами и обо всем доносили патриарху. Поэтому мы строго следили за собою, но не по доброй воле, а по нужде и против желания вели себя по образу святых... После службы мы не в состоянии были придти в себя, и наши ноги подкашивались. В этот пост мы переносили еще большее мучение, ибо русские в пост не едят масла, и по этой причине мы испытывали великую муку. Если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них, как подвижник».

(дьякон Павел Алеппский)

И побежали по престольной бирючи, и подьяки, и патриаршьи стрельцы по боярским палатам и купецким хоромам, по Белому городу и Скородому, не минуя распоследней холопской избенки, чтоб выискать чужебесные иконы. Те доски доставили в крестовую келью, и Никон, не сробевши, выколол у святых глаза. Стрельцы же вновь понесли казненные еретические образа по площадям Москвы и, сбивая в толпы посадских, зычно вопили глашатаи: «Кто отныне будет писать иконы по образцам картин франкских и польских и поклоняться им, да будет проклят». Бирючи спешили дальше, оглашая грозный патриарший указ, а за ними в морозной дымке вечереющей Москвы оставался людской недоуменный ропот. И тут не одно сердце сжалось от дурного предчувствия. Видано ли: новый немилосердный иконоборец завелся на святой Руси, в самом сердце истиной матери-церкви обжился змий подколодный, и не видать нынче православным добра и мира. Вот и миленькой царь где-то в дальнем походе и не чает, сердешный, неминучей грозы: некому дать укорота осатаневшему патриарху.

...Никон дернул за посконную веревку благовестного колокольчика, призвал келейника и велел бить к вечернице: глухо ударил Реут, не замешкав, басовито поддержал патриарший колокол, следом ото-

звалось медное пенье Чудова монастыря, а там пошли катиться звоны по всей золотой Москве. Шешура достал выходной патриарший сряд. По случаю наступивших зимних холодов облачился Никон в тафтяные штаны на беличьем меху, да чулочки суконные на собольих пупках, дв ряску красного бархата и фиолетовую мантию; на плечи накинул кунью шубу, крытую брусничными дорогами, на голову нахлобучил лисий малахай. Громоздко, но тепло и свычно; вроде бы не за тридевять земель в поход собрался, всей-то дороги до Успенского собора с десяток сажен, но для всякого случая у великого государя свой непоколебимый чин и нарушить его — непростимый грех. Вера истинная, как и держава, нерушимо стоят на заповеди и догмате: чуть прислабь обычай, потрафь человеческой слабости, иль немощи, иль норову, не могущему блюсти предавье, с того края и начнет неудержимо сыпаться самая нерушимая стена.

...Никон вышел на Золотое крыльцо, поддерживаемый под локти дьяконами. Над Москвою висела морозная малиновая пыль, деревья густо закуржавели, замлели, инеем отсвечивал голубым. Небо с закрайков налилось кровью, дымы подымались сизыми упругими столбами и пахли естовою. Но изжелта-мутное солнце будто присыпано мукою и рассечено иссиня-черным крестом. Никон осенил себя знамением, в груди уместилась тревога: то ли затеял? Он торопливо отвел взгляд, чтобы не заметили сего небесного вещего знака соборный причт и патриаршьи бояре. Но уловил, однако, как растерянно вздрогнули дьяконы, провожавшие патриарха под локти. Задумчиво подымаясь на западное крыльцо, Никон запоздало обернулся, подал кнповый посох архидьякону Григорию. Солнце прощально играло в теремных окнах, окрашивая их алым, на позлащенных, сейчас неподвижных в безветрии флюгерах над башенками дворца, слепило венецейские цветные стеколки, забранные частыми медными решетками, за одним из которых по обыкновению стояла Марья Ильинишна. Порою выходила она к службе через церковку во имя Положения пояса Владычицы, скрытая от чужих глаз: но нынче она сказалась нездоровою. Поди тоскует государыня по своему благоверному, что стынет под Смоленском, добиваясь победы. Не позднее, как вчера, была от него орация патриарху, де приступили к осаде крома, и ляхам нынче не устояти противу православного царя. Орация была коротка и деловита: христославный царь впервые почувствовал себя воистину воином и державным мужем. Дай Бог, дай Бог... С этой мыслью Никон благословил невидимую государыню, поклонился до земли, потом и вторично благословил и отбил большой поклон.

В соборе стояла морозная тишина, прихожане еще не обогрели церковь своим молитвенным дыханием: большой паникадило — ветвистое серебряное дерево с сотнею возженных свечей — сиял жаром, и этот жар, проливаясь на образа, благоговейно высветлял святые чины иконостаса, причудливую золотую канитель царских врат и всю древнюю достойную живопись стен и сводов. Поклонившись иконам, Никон замедлил, решил почествовать мощи св. Петра, чтобы покровитель Московии благословил и напутствовал патриарха из каменной скудельницы. Тут от южной двери на папертя, выстланой железными плитами, раздался многий топот шагов и гул, вовсе не молитвенный, а в притворе показался антиохийский патриарх Макарий с сирийской многою свитой. Макарий был преизлиха тучен и одышлив от ходьбы, он часто вытирал фусточкой взмокший лоб, черные волосы курчавились над ушами, выбиваясь из-под шелковой камилавки. Он издали еще заулыбался Никону, топорща котовьи, с рыжиною, усы и взмахивая двурогим посохом, а таусинные глазки излучали такой свет поклончивой любви, что и серебряный полиелей в сто свечей померк в эту минуту. Они отбили друг другу земной поклон, Никон сиял вязаный клобук с золотыми плащами и херувимом и попросил Макария благословить его. Драгоман перевел просьбу русского крайнего святителя. С трудом, после многих отказов, Макарий благословил Никона. Поклонившись иконам, патриархи вошли в алтарь, помолились пред престолом и приложились, по обыкновению, к Евангелию и кресту. Напротив престола стояло в рост человека зеркало в раме из черного дерева, усаженное по углам золотыми ангелами. Патриарх взял щетку из свиных волос, передал клобук протодьякону и стал охорашиваться. Борода окладом была настолько густа, что свиная щеть едва продирала ее: волосы, прошитые ранней сединою, опадали волною на плечи, на рытый бархат мантии, и Никон с каким-то неожиданным чувственным тщанием обиходил их, красуясь пред зеркалом. Макарий остался несколько поодаль и казался в зеркале коротконогим и криворотым. Никон взглянул с почтением в отражение сирийца и поймал холодную ухмылку на смуглом лице. Иль показалось, померещилось лишь? Никон зорко и строго пригляделся: узкие с прозеленью глаза Макария были по-прежнему приветно-улыбчивы, но с какой-то надоедающей притворностью. Тут приблизились священники за благословением и отвлекли Никона от сомнений. Архимандриты кланялись земно, целуя крест и правую руку патриарха, унизанную перстнями. Затем святители подошли к жертвеннику, приложились к чаше и дискосу и отправились в нарфекс. Никон взошел на архиерейский амвон, где дьяконы принялись облачать его в парамаид и стихарь, не снимая со спины бархатную мантию; сирийский гость встал на своем патриаршем месте. Русский пост тяготил его, с соленого огурца и стоялого кислого квасу нехорошо бродило в желудке: вдруг с тоскою подумал владыка, что нынче вечерница рано не кончится. Плоть его внезапно затомилась, и дальняя восточная родина, полоненная агарянином, откуда Макарий с такими тяготами притащился на Русь за милостыней, почудилась ему землей обетованной. В малой алтарной Макарий приметил груду икон, лежащих вповал, на многих образах лица святых безжалостно соскоблены. Владыка переступил оскверненные доски и почувствовал торжество. Долгие поучения Паисия Иерусалимского не источились в песок, но нашли в Никоне верного старца.

«Вот она, видимая скверна. Божья кара настигнет всякого в свой час, кто нарушит заповеди великой Святой Софии»,— остерег Макарий, полуобернувшись к дьякону Павлу Алеппскому. Драгоман, не испросив соизволения, торопливо перевел слова Никону, и патриарх благодарно поклонился.

...Собор скоро заполнился прихожанами всякого чину. Никона побаивались и после строгого указу о бесчиниях в церкви многие страшились не только кашлянуть, но и вздохнуть глубоко. Был народ в смирных одеждах, чтобы не показаться тщеславным. Дьякон возглашал ектинию, певчие — парубки, привезенные из Киева, в белых кафтанах с алыми петлицами, с голубыми кроткими глазенками, возведенными горе, сладкоголосо выпевали «Господи, помилуй». Кто-то в соборе внезапно всплакал, наверное вспомнив убитого под Смоленском благоверного. на вдовицу цыкнули. Никон доверил службу патриарху Макарию, сам же затаился под патриаршей сенью, неведомо чего выглядывая в прорези шатра. Какой ковы, каких неведомых угроз стоило ждать из сумрака притвора, с заснеженной площади, куда не доставал свет полиелея? Архидьякон торжественно приблизился к патриаршей сени с кадилом и, звякая серебряными цепями курильницы, окутал владыку благовониями. Никону стало зябко, остыли ноги, плохо грели суконные чулочки на собольих пупках: его охватила дрожь от странного возбуждения, словно бы он приблизился к пропасти. Никон взял золотое яблочко, наполненное горячей водою, и стал катать его в ладонях, грея руки. Тут западное окно Успенского собора прощально окрасилось кровавым. И вдруг, нарушив заповедь, вроде бы невидимый соборянам, Никон вместо востока трижды поклонился вослед западающему солнцу. Архидьякон замешкался испуганно, и рука сирийского иерея, протянутая навстречу, чтобы перенять курильницу, зависла в воздухе. Макария опередил дьякон Павел из свиты. Смутно, тягостно стало в соборе от предчувствия, и всяк молитвенник, истово верующий в святую Русь, вдруг почуял из патриаршей изукрашенной сени угрозу. Словно бы навостренную рапиду приставили к сердцу кроткого агнца, чтобы прободить его. Заступленник, смиренник, усердный богомольщик за всякую христианскую душу, бессеребреный ходатай пред Господом, что же богомерзкое ты затеял, Никон, в своих скрытных беседах в патриаршей келенце? Каких таких извратных кощун надули тебе в уши заморские шептуны, почасту наезжающие на Москву за милостынькой? Попрошайки, давно утратившие прародителев приход, паству и заветы, променявшие веру истинную на еллинские книги, чего же вы с таким самовольством и самохвальством переступываете по амвону первой церкви Руси, оттеснив от службы великого государя! И неуж кир Никон сам восхотел того?

А вы, отцы церкви нашей, куда вдруг заторопились на рысях, возомнили о себе невесть что, запрягли в коренники беса и давай поманывать скверну в распахнутые чужаку царские врата. А он-то, витийхрист, вельми выучен всяким прелестям и заведет вас скоро в такие чаруса, откуда веком не выбраться. И неуж не ведаете, что новые вероучители учат нас неслыханной вере, точно мы мордва, иль черемисы: пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить. Уже иноземцы смеются над нами, де, что мы и веры христианской по се время не знали...

Шёпот рос, вспыхивал волнами и почасту перетыкивался сквозь псалмы, нарушая строй службы. Ввечеру видели московцы черный крест на солнце: знамо, быть беде. Где ты, Никон, отец наш? Объявися...

Никон подманил анагноста, велел ставить аналой. Дьяконы принесли стул, положили на шелковую ширинку сборник отеческих бесед, откуда Никон порою после обедни вычитывал проповеди. А нынче-то время неурочное для бесед: какой же неотложною наукою вдруг возжелал поделиться пастырь? Никон поглубже надвинул филаретову вязаную скуфейку на лоб (клобук тесным обручем сдавил голову), расправил по плечам белоснежные воскрылья и поцеловал наградный крест. От сладкого лобзанья он открыл в себе решительную силу: ему сделалось так горячо, что губы пересохли от внутреннего жара. «Детки вы мои, детки, по-голубиному вскрикнуло сердце, я вас отыму от пагубы». Он решительно, как на ристалище, вышел на патриаршее место за амвон, без тени сомнения отбил Макарию большой поклон и, не тая голоса, возвестил трубно:

— Сам Спаситель прислал тебя учить нас, маловерных, и рассеивать тьму...

И снова земно поклонился, ставя себя ниже антиохийского иерея.

Вот оно, началося: мрак нисходит. Где ты, инок Филофей, бывалоче вразумивший великого князя Василия, де, соборная русская церковь теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной. Кости твои сотряслися, и от мощей исторгнулся по святой Руси изумленный стон.

Едино вздохнул собор в предчувствии беды, и лишь иереи соглвсно сняли клобуки, и трижды поклонились Макарию. А митрополит Павел Крутицкий, никем не спрашиваемый, вдруг высунулся наперед и торопливо возвестил:

— Свет веры во Христе воссиял нам из стран востока...

Никон сурово сдвинул брови, взгляд исподлобья не сулил ничего доброго.

— Отец святой, блаженнейший, владыка кир Макарий, патриарх великого града Божьего Антиохии и стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока! Твоя святость уподобляется Господу Христу, и я подобен Закхею, который будучи мал ростом и домогаясь увидеть Христа, влез на смокору. Так и я, грешный, вышел теперь на амвон, чтобы лицезреть твою святость...

Макарий поощрительно склонил голову, не стирая с лица отеческой улыбки, и драгоман нашептал Никоновы похвальбы в мясистое старческое ухо, принакрытое курчавой седеющей шерстью.

— Медоточивы твои уста, великий государь Никон, сладкоиапевны и велегласны они,— вступил Макарий.— Щедра на милостыньку богомольная Русь, но ее подточил недуг ересей. Кобыльники пригащили к вам заразу, а вы испили ее, как нектар. Но надобно помнити вовек: свет истины притек от нас. В Антиохии, а не в ином каком месте, верующие во Христа впервые были наименованы христианами. Но вы не только евангельские заветы малодушно испроказнили, но и давно позабыли соль веры, как крестится от веку Царьград и святой Афон, Александрия и Синай. Утратили завет апостолов, учеников Господевых, потчевая язычников. Знаменуете себя, как архиереи, двумя персты, и тем впадаете в пагубу тщеславия и гордыни. Вот, де, я — сам Христос! Глядите, каков я! Вот и владыка ваш Никон ослеп от слез плачучи, что в темени и гресех прозябает отчаявшаяся Русь! Но и я скорблю и стенаю с тобою, православный воитель!

— О, блаженнейший, спосыланный к нам самим Спасителем. Я, немощнейший, припадаю к твоим стопам, источающим елей, прося подмоги. И ныне пред Золотым Евангелием клянуся: я русский, сын русского, но мои убеждения и вера греческие. Будь моим поводырем, владыка, и веди претыкающегося слепца к вратам Света присно и во веки веков. Паки и паки казни меня своею рукою, прелюбы творящего, в науку мне и всем православным богомольникам, хотящим слышать ваше святое слово. И крепкой клятвой клянуся смертно стояти за истинную веру...

— Благословляю, чтобы заблудившиеся прозрели, отчаявшиеся воспряли духом, кривоверы состунили с тропы безумных логофетов! — Макарий простер руку и как бы всех разом принакрыл и обласкал пухлой дланью, унизанной перстнями. Сиянье полиелея отразилось от перстов мерцающими копьями. И от этих слепящих рапид, казалось, прободающих сквозь, соборяне призатеиили глаза и впали как бы в обморок. Такая вдруг установилась тишина. И даже соборные нищие, что от холода жались к притвору, перестали гнусавить милостыньку Христа ради. И многие из прихожан тут заплакали, искренне кляня себя за пороки, другие же, глядя на оплывшее лицо наезжего владыки, что явно любит есть-пить, подумали, усомнясь: «Слепец слепца ведет в яму. У самих вера давно испроказилась махметовой прелестью безбожных агарян, зато нас собрались вдруг излечивати. Ну что мы за жалкий такой и смиреной народишко, воистину овечье стадо, что всяк, кому не лень только, садятся нам на голову, едут издалека нас поучати и наставлять, и исповедовать». И те, кто не приклякивал гостю, у кого не отсырели очи, вдруг с особой пристрастностью огляделись вокруг и пообиделись за тех, кто с готовностью отворил родники слез. И меж прихожанами впервые опустилась невидимая решетка.

И снова Никон покорливо отступил пред антиохийским святителем, глядя с некой грустью и почтением, и дальней завистью на его пригорблые жирноватые плечи, на донце шелковой, раструбом, камилавки и широкие белоснежные воскрылья, полотнищами опадающие к спине. И решил Никон, болезненно чуя, как филаретова вязаная скуфейка тесно перетянула ему лоб, что даже самая неприметная утраченная малость изымает из православной веры ее всеобнимающую красоту. Ну, какой же мы, всамделе, третий Рим, да и станем ли когда воистину вселенской церковью, ежели так разнимся не токмо в заветах, но и в обрядах, и в обличьи?

..Сам Макарий Антиохийский напутствовал, чтобы мы решительно возвернулись в истинное лоно греческой церкви. И время ли далее-то отступать, когда вся христианская паства с мольбою смотрит на нас? И царь-государь того же хочет. Така какого же особого срока еще поджидать?

Никон вступил за аналой, потрогал кожаные крышки нового служебника, переведенного Арсением-греком и разосланного ныне по всем приходам Москвы. Он трудно поискал первых, самых решительных слов и сказал мягко, но с неколебимой верою в правоту:

— Чады мои, дети мои духовные... Царь вавилонский Навходоносор похвастал однажды, загордясь собою, де, я Бог. И Вавилон рассыпался, аки песок в пустыне. И развеяло его по ветру, и в том месте завелись змеи, и та отрава растеклася по всей земле. Нельзя единому двоиться, даже мысленно, ибо всякое царствие, разделенное в себе, не устоит: грех нестираемый переманывать славу небесную на мертвую плоть. А мы-то о чем помыслили, отплывя от Царь-града, перехвативши от верных правило церковного корабля? А решили сразу, что и ветры нам инпочем. Де, сами с усами, такие похвалебщики. Мы — третий Рим! Мы — крепость правос-ла-вия-я. А сами заскорбели во гресех и лик божественный утратили. Помните, чада милые, неразумные! Есть одна лишь Святая София, откуда Божьим промыслом притек на Русь свет евангельского знания, раскрывшего наши дремные языческие вежды, и

другой не бывать вовеки. И спосыланный со стран Востока кир Макарий напомнил, что заплутали мы, паки и паки пособляем сатане Знайте же, маловеры и кривоверы, и слабые сердцем, сбитые с толку утробой ненасытною, впитавшие искус иосифляи! Кто хочет стяжати славу земную, забывши о душе, тот первым предстанет на судилище пред Господом нашим, ибо позабыл в суете сует, что вся слава земная не стоит и одной минуты грядущей райской жизни. И ввергнут будет в огненную дебрь. О чем возомнили вы, одевшие чужое платье, взявшие за пример богомерзкую геометрию, еллинские книги и роскошь, потрафляя чреву во всякой прихоти, вы потаковщики латинам и иудеям? Верно подумали, что вас минуют весы, на которых до малой гривенки измерят ваши грехи и добродетели? Вы, отступники, и образ-то Господен позабыли, поклоняясь чужим доскам, изгнали от себя печалующийся о вас тончавый лик Царицы Небесной. С польских земель привезли франкские иконы и похваляетесь ими, как драгим каменьем. Что сталось с вами? Каким чарам и кобям предались, малодушные, в неурочный час, когда немотствовала душа ваша? О горе, горе нам! — Никон всплеснул руками, и прихожане заоглядывались, отыскивая промеж себя прокаженных, отмеченных немилостью патриарха. Не зря же последнюю неделю бегали бирючи по престольной, стаскивая чужебесные иконы в патриаршью ризницу. И взгляд истовых богомольников вдруг стал подозрительным, немилостивым, и даже близкие по родству, иль кумовству, гоститтвами и домами отвели друг от друга смущенные и беспомощные взоры, чтобы не быть уличенными во грехе. Никон дал знать рукою, и архидьякон Григорий, зоревея упругим возбужденным лицом, вынес из малой алтарной образ Богородицы умиленной с младенцем.

Никон вскинул доску над головою. Богородица была, как живая, срисованная с московской боярыни, червлена да сурмлена, с брусничной спелости щеками и обволакивающим таусиным взглядом. Ножки же и ручки младенца все в перевязках, головенка покрыта витыми кудерьками. И тут куда только делась умильная кротость патриаршего взора и раскатистая, густая сладость слов, выбивающих чистосердечную слезу из самой мерклой, иссохшей груди. Патриарх взъярился, потрясая иконою, чтобы криком подавить в себе самое малое сомнение и всякую уступку нечестивцам, чтобы не открылась к жалости душа.

— Глядите, чада мои, на эту бабу! — Заторопился Никон, ткнул перстом в Богородицу. — Эта скверна с тябла дяди царева, боярина Никиты Ивановича сына Романова. От фригов спосылана. Сам-то боярин — брадобритенник, он до всего заморского давно охоч и табаку нюхает, и своих слуг обряжает в кощунное платье, страмя дедовы заветы: Он и есть-пить шибко любит, угождая брюху своему, и не каждый день поминает молитвы. Где-ка ты, Никита Иванович, скажися народу? Пусть добрый люд посмотрит на каженика, что любодеице поклоняется...

А цареву дяде не пристало прятаться, коли его свычное место на самом почете подле государевой сени. Вон на кого замахнулся, взнял руку Никон: вот кому засулился грозою! Никита Иванович стар уже, седой, как песец, со стальным прищуром пасмурных неулыбчивых глаз. Прихожане невольно отшатились от Романова, и он остался стоять сиротливо, как перед казнью: зачем-то явился в собор в внешнем сюртуке английского покроя с кружевным воротом и с толстой золотой цепью для карманных часов с музыкой; в ответ на издевку патриарха он набычился, жамкая в кулаке бархатную круглую шапочу с собольим околом, потом достал часы, открыл крышку со звоном и сухо притворно рассмеялся, гордовато откинув голову. И покинул вечерницу, постукивая ореховой палкой. И соборяне, всегда поклончивые пред боярином, добро знавшие его веселую искреннюю натуру, раздвинулись говино, образуя коридор... Но затейно, право уж так затейно соборянам поглядеть на посрамление царева дяди, первого богатея и охотника до иноземного сряда, любителя немецких фортепьян. Ничьей власти не добраться до ближнего боярина, а тут нашелся человек выше царева рода и призвал спесивца к чести. Будет ныне разговоров на Москве: вот и черный крест на солнце, скоро сбылось для Романова грозное предзнаменование. И неуж смолчит гордоус, не даст Никону отмашки?

А Никон выдержал молчание, проводил боярина взглядом до притвора, чтоб всяк насладился позором думного сановника: и тем дал весть народу, что любой кощунник, в какой бы вышине ни числился на Руси, будет посрамлен и наказан, ибо церковный меч поразит всякого.

— Эта баба каждый божий день набивает черева жирной ествою и с того брашна любострастна она. А на руках-то что за младенец? Ноги и руки, как стулцы березовые, и взор горит похотью. Вглядитеся пуще, там бесы свили себе гайно и вскочут во всякого, кто хоть раз поклонится еретической живописи. И богомаз, что насмелился тончавый постный лик Царицы Небесной иначить по скверному своему розмыслу, да будет проклят навечно и изгнан из матери-церкви. И так всякий, кто решится держати в доме своем подобную ересь польского и франкского письма, да будет предан анафеме. Изгоном погоним эту заразу из православных стен. И пусть сожгут ее палачи, а пепел закопают в землю, чтобы не коснулась проказа ничьих одежд.

Но кто вложил в десницу Никону золотую рапиду? Он с холодной решимостью, как по живому и трепещущему в страхе, вонзил острие сначала в очи Богородице, провернув жало в окровавленной мякоти глаза, а после и алчущего младенца осле-

пил и сокрушил икону о железные плиты пола. Всеобщий испуганный стон раздался в Успенском соборе. Эти священные стены еще не знавали подобного иконоборца. И многие в ужасе втянули голову в плечи, устрашась неминучей кары. Ведь саму Богородицу смертно уязвил патриарх.

Владыка Никон, великий отец наш, уймися, не дай гневу своему простору...

Напрасно ждали соборяне вышней кары: не обрушились своды храма на владычну голову, и черти, с таким тщанием написанные на задней стене церкви, по-прежнему деловито купали грешников в кипящей смоле, подвешивали на крючья под ребра и парили огненным веником на раскаленном ложе. А великие апостолы и евангелисты, и святые отцы Руси бестрепетно взирали на властного неистового патриарха, бывшего мужика, ныне же царствующего на Руси. В морозной темени на дворцовой площади садился в богатую карету, подбитую куньими хребтинами, боярин Никита Романов, отныне враг Никона. Он услыхал протяжный стон в соборе и оглянулся: со тщанием выбритое лицо его не дрогнуло; слуги в ливреях с серебряными позументами вскинули наперевес черемховые батоги и поспешили впереди поезда, освобождая дорогу от зевак. Тонкие ошинованные колеса сдвинулись, увязая в сыпучем снеге и прорезывая недолгую колею. Возничие каптанов с усмешкою провожали карету...

Архидьякон Григорий вынес образ Спасителя в богатых ризах, убранных жемчугом и алмазами. Сириец Макарий вздохнул, подался навстречу, пытаясь перенять икону: жалко было серебряного кованого ковчега и многих других каменьев. Но его движение было неуловимым, и вряд кто заметил, кроме дьякона Павла.

— Это ли Искупитель? Отец-Свет наш! — воскликнул Никон, подымая икону над головой. — Чада мои благочестивые! Думно мне, что боярин Борис Иванович Морозов спутал его с разносчиком питий. Не хватает ему, опойцу, намалеванному еретиком-изуграфом, братины с медом. Эко обрюзг, ярыжка, и с вина-то осоловел. Свинья свиньей, только что не хрюкает. Сам большой грешник и греху поклоняется Морозов, мишурою и блеском хотящи откупиться у Превечного от огненной дебри. Потаковщик лютерам и сам кривоверт, держащий отца духовного лишь для близиру, он нынче всюду плачется, де, мало вкусил прелестей от фрягов и фрягов. Небось, нету его на вечеринце? Сказался больным?

— Владыка премилостивый, не порази Божественных очей! Чую, отзовется вскоре. Невдолге минет срок и сам ослепнешь! — несдержно донеслось с женской половины собора. Из-под суконных червчатых пол, кои врастяжку держали юные челядинницы, на миг показалось лицо Федосьи Морозовой. Уже глухо, из-за опоны, взмолилась госпожа:

— Опомнись, великий отец наш, и не заступай Света!

— Бедная, ох ти мне. И ты обманута сатаною? Сколь глубоко въелась скверна промеж нас. Глядит-ка, голубица, сейчас взвоет сатана, уязвленный мною! — Никон взмахнул рапидой и поразил левое око Исуса Христа. И немилосердно кинул образ под ноги себе; и раскололась доска напополы, попав на кованые, поистертые заклепки; и дорогое камение раскатилось по амвону, выбитое из гнезд. Патриарх Макарий ловко присел и поймал в пригоршню полыхнувший голубым адамант величиною в перепелиное яйцо. Алмаз пропал в широком рукаве дареной ризы. Тут под куполом собора прощально всхлопало, раздался звериный вскрик, и все взоры прихожан уперлись в подсвеченную глубину морозного купола, откуда грозно сиял изумрудный зрак Творца.

Архидьякон, торопясь, уже подавал новые образа.

— Ртищева Федора Михайловича, окольничего богомерзостная икона...

— Стрелецкого начальника Артамона Матвеева кощунные доски...

— Князя Василия Голицына любострастные еллинские обманки...

Собор опустел. Вечерница, внезапно разрубившая Русь напополы, закончилась, оставив в сердце каждого горечь неясной проказы, но колокол, обычно извещавший о выходе патриарха, так и не подал вести задремывающей Москве. Из тайной зепи Никон достал замшевую кошулю и подал певчим по алтыну. Он задержал сирийца Макария, отправил вон клир и приезжих служебников антиохийского посольства; остался в соборе лишь архидьякон Григорий и успенский поп. Никон сам проводил сирийцев, чувствуя, как устал, остамел ногами и опаршивел телом: будто трудную рать выдержал, настолько источился душою, был безвольно вял, сонлив и спотычлив. Диякона Павла, безотчетно любя его за чистую бледность лица и смиренность взора, прощально погладил по плечу, как бы отпустил в мир; ключарь, попросив благословения, закрыл кованые врата тяжелым ключом и просунул в проушины дубовый засов; сирийцы, намаянные и устрашенные долгой службой, промерзшие до костей, столпились на южном крыльце, мысленно глядя в сторону милой родины; слышно было, как они гулко топотали вялеными сапогами по ледыхам паперти, кляня Московию; на небесной жаровне ярко тлели угольи: у воротных решеток в царский кром горели костры, выхватывая из ночи мохнатые собачьи шапки стрельцов, край площади, заиндевелый бок Благовещенского собора и святительскую каптану на полозьях с опущенными бархатными опонами. Никон прислушался к чужеземному говору и, охватив внешнюю жизнь умственным взором, чуть оттаял, приободрился, словно бы уверился в надежности охраны.

Макарий по-прежнему задумчиво стыл на амвоне, не покидая патриаршьего места. Никон вошел в государеву сень, принял с тарели золотое яблочко, покатал в ладонях. Но вода давно стыла, и яблочко не грело. Ничто нынче не радовало Никона...

«Не круто я взялся?» — спросил Никон у гостя. Драгомана не было, и слова до Макария не дошли. Никон усмехнулся, подумал: частенько, брат мой, гостишься в Руссии, мог бы чего и схитить из нашенского языка. Гордость, вишь ли, долит владыку.

«Нет-нет, в самую пору. Час настал боевой!» — сам себя укрепил Никон. Макарий ласково заулыбался, часто закивал головою, вроде бы понял тайный смысл слов. Не хитрит ли гость!? Исстари известно: иудей цыгана обманет, а иудея — грек.

Соборный поп неслышно блуждал по церкви, любовно убирал иконы влажной губкой, целовал образа, боялся прогневить патриарха; ключарь тушил свечи, собирал огарки в плетуху. Макарий, забывшись, достал из рукава ризы утаенный адамант, стал глядеться в него, восторгаясь голубой, глубокой водою камня. Никон вкрадчиво приблизился, боясь выпугать гостя: неприкрытая жадность грека смущала его. Никон и сам был преизлиха скупенек, скупидом, он все тащил в церковную ризницу, выпрашивая частые подачи у государя; но до чужого, и чтоб по-воровски — не грешил.

«Дай-кось, чего там выглядел?» — спросил у Макария с усмешкой и забрал алмаз. Патриарх, запрокинув голову, долго смотрел сквозь адамант в призрачную, дробящуюся глубину ночного купола, из которой проливался на церковь изумрудный взгляд Творца. Ведь туда, шумя крылами, отлетел Сатана. И ни бреши там, ни другого лаза, гнезда иль схорона. Потом поместил драгой камень в замшевую кошулю и просунул ее куда-то в тайную зепь, за пазуху, к самому телу возле вериг. Подумал нерешительно: надобно боярину Морозову сказаться, чтобы не палось на грех; разнесет Бориско, де, Никон на чужое покусился.

«Беда зариться на чужое», — сурово остерег Никон гостя, но тут же прощающе улыбнулся, прошел в алтарную, пальцем поманил сирийца. Макарий оскорбился небрежению, но в замрелом от долгих бдений лице, покрытом частой сеткой багровых прожилок, не выказалось неудовольствия. Давно турским махметом византийская церковь приноровилась скрывать истинные чувства.

«Кого Господь наш возлюбит, того почасту и наказывает», — по-гречески вдруг молвил Никон, любуясь сладконапевностью звуков.

«Слава Творцу нашему», — в ответ вяло возблагодарил Макарий.

«И в нашу церковь проник враг Божий, чуя потворство. Надобно его низвергнуть», — громоподобно возвестил Никон в пустынном храме, вызывая сатану на рать. И чего не случалось прежде в обыкновение, Никон принял с престола на голову злащеный ковчег, примяв клобук с золотыми плащами, пронес драгоценную укладку в храм, бережно поставил на средний аналой. Патриарх вскрыл царскую печать, отомкнул святое место, откуда молитвенно достал золотой ларец. И здесь была нерушимая царская мета, кою мог обойти лишь первый святитель. Никон разъял ее, отпахнул крышку, извлек ризу Господню. Он за обыденку, как самое обычное дело, раскинул Христово платно: подол его с шорохом и свечением скатился на пол. И неуж сам Спаситель облекался в него? Тут сноп света разъял сумерки, и владыки повалились ниц, не смея дерзко вздохнуть, трепеща от страха и благоговейного восторга. Запела небесная музыка, скоро отдавшаяся в сердце каждого. Патриархи омолодились, воспряли, услышав в себе силы на благое дело. И раздался в вышине божественный благословляющий глас: «С вами Бог!»

Никон окадил льняную, темную от старости, однако не утратившую сиянья, ризу, и, трепеща, поцеловал ее край. Тут и сириец Макарий подступил, отринув робость, облобызал смертную Христову рубаху. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», — гулко зарокотал Никон, не подымаясь с колен. Макарий, гнусавя, с осторожностью и несмелостью поддержал русского патриарха, с дерзостью преступившего дедовские заветы. И верно: с какой такой необъяснимой нуждою вдруг сломал Никон стародавний закон? Что ему нашептала Христова риза, в чем укрепила его, на что подвигла? Глыба, гора православная — этот патриарх, плечи коего подпирают сами своды Успенского собора. Для чего-то именно его выбрал государь средь русских святителей? Значит, был глас? Так, устрашась, подумал гость, с испугом, презрением и неприязнью озирая снизу вверх покатые, державные, упругие плечи Никона, покрытые церковным платком, как воинскими бронями. Разве не обидно гостю? Что греку за богатство, то русскому за обыденку.

Наверное, извлек Никон себе защиту из самолюбивой кощуны своей? Кто узнает сие... Он протяжно, с облегчением вздохнул, будто бы получил разрешение Спасителя на подвиг земной, и не спросив гостя, уже спокойно, деловито запечатал ларец с ризой Господней, поместил ее назад в ковчежец, возложил на голову и отнес обратно в алтарь. От престола, благословив друг друга, они и разминулись, и Макарий покинул собор с неразрешенной загадкою.

Подьяк-ключарь с заплаканными воспаленными глазами, рискуя разбиться, взобрался по лестнице к большому паникадилу...

жая собор во мрак. Он почасту, без нужды взглядывал вниз, на тусклые железные плиты пола, притягивающие его слабую плоть. Такое желание посещало подьяка почасту, двоило его сердце странным соблазном. Может, оттолкнуться от поручней и полететь? Душа рвалась в небо сквозь стемневший купол, а болезненное постное тело, снедаемое червями, готовно опадало встречь земле. И от восторга мороз пробивал его замлевшие пустые кости.

«Придет свой час, и Господь сам призовет меня!» — воскликнул служка и очнулся.

...За грехи нам, ох за грехи...

Всумятилась в голову русского человека и уже не отпускала эта повинная мысль.

Наслал Господь на Третий Рим девку-маруху, чтоб известь московитов за неверие. Невесть откуда явились волосатые толкователи священных писаний, прорицатели снов, расслабленные девицы и прокаженные нищие, чернокнижники и упыри с красными глазами: они стали бродить средь всполошенного народа, суля гибельную тоску и конец мира. Богатые затворились в хоромах и палатах, денно и нощно окуривая комнаты кадильницами и наглухо затворив окна и двери. Мудрые постились, вовсе не принимая ествы, лихие же, сорви-головы, пустились в пьянство, вином отгоняя прочь дурные чувства. И всяк нестерпимо захотел выжить, тайно покидая Москву, подкупая караулы. Иные спаслись, а иные были на месте изрублены бердышами. Заслоился над Москвою горький костровой туман, по речным излукам, на взгорках, у богаделен и вокруг кладбищ жгли всякую ветошь. Упали на въездных воротах дубовые засовы, опустились по улицам кованые решетки, у рогаток осекли посадских стрелецкие вахты; встала у подворий, куда наведтила язва, суровая сторожа, убивая смертно всякого, кто намерился покинуть свое имение; и тогда целые роды выбивало чумою. Скончался и верховой царицын поп Иван, брат Аввакумов. Запустели церкви, и причты, не покидая соборов, молились неустанно, тут же и умирая возле престолов. Далеко великий государь, он воюет с ляхами, добывая побед, и, казалось бы, самое время торжества. Но пляшет Невея в известковых братских ямах на московских безвинных костях.

Никон оставил воеводою над столицей боярина Михаила Петровича Пронского и в самые июльские жары, под покровом ночи, тайно вывез из Москвы во спасение царскую семью подальше от язвы. И всякого, кто по нечаянной судьбе иль злому умыслу попадался на пути, того прокалывали стрельцы долгими пиками, труп отволакивали подальше в лес и зарывали там без причастия, а одежды свои сожигали, чтобы, упаси Бог, не занесть в государынин обоз морового духу. А землю ту срывали с дороги на несколько пядей, насыпали свежей, чтобы проехал царский обоз, и так благополучно добрались до Колязина монастыря, сам же Никон закрылся в Троице-Сергиеве, молясь о спасении несчастных и стеная о нескончаемых своих грехах.

Но в Успенском соборе еще славили Спасителя, чтобы он даровал живота, и всяк православный, уповая на милость Божию, как никогда глубоко воспринимал евангельский завет: «Все в жизни временно, токмо душа вещь непременна». Второго августа померкло солнце, и люд московский впал в уныние: ночами через Скородом проникали в город лазутчики, мутили народ, сеяли гиль и смуту. И ляхам то поветрие было во спасение, ибо русский царь одолевал Польшу. В Москве оставалось мало войска, и воровским людям была безнаказанная воля. Нашлись и главные заводчики, купцы гостиной сотни Заика, Баев и Нагаев. Но кто настроил их против Никона, кто подвиг на московский сполох, позднее так и осталось неизвестным. Двадцать пятого августа воевода князь Пронский после обедни вышел на паперть и вдруг увидал перед собою множество посадских из разных слобод. Передние держали икону «Спас нерукотворный», на которой лик был изъязвлен ножом. Земские приблизились бестрепетно к боярину и объявили: «Взят этот образ на патриархов двор у тяглеца новгородской сотни Софона Лапотникова, и возвращен ему образ из тиунской избы для переписки. Скребли образ по патриархову указу».

«Православные, и неуж стерпим такое поругание!» — вскричал Софон Лапотников.

Толпа заворчала: «На всех теперь гнев Божий. Так делали иконоборцы. Во всем виноват патриарх, держит он ведомого еретика старца Арсения, дал ему волю и, тот чернец много книг перепортил. Ведут нас щепотники к конечной гибели. Патриарху было пристойно в Москве молиться за православных, а он Москву покинул, и попы, смотря на него, многие от приходских церквей разбежались; православные христиане умирают без покаяния и без причастия».

Пронский успокоил народ, говоря, что Никон покинул Москву по государеву указу. Толпа разошлась, но в тот же день вновь стеклась у Красного крыльца с порчеными иконными досками. «Мы разнесем эти образа во все сотни и слободы и завтра придем к боярам этому делу». Пронский призвал к себе сотских и старост, и лучших людей черных сотен, и слобод и убедил их, чтобы они не приставали к совету худых людей, и заводчиков воровства выдали боярам. Заику, Баева и Нагаева залучили под стражу и заковали в цепи.

Но смерть не личит правых и виноватых, всех косит без предписаний. Трусприутих, гилевщики разбрелись по дворам, надо было хоронить ближних и озаботиться о своей душе: неровен час, что скоротечная горячка в один час сожжет и того, кто даве с такой удалью ширился пред воеводою и кричал хулы на патриарха, и кто норовил выдернуть засапожник, чтобы перехватить боярское горло...

Пошел снег. Пали первые морозы. По прежним оттайкам кривые улочки и заулки скоро обросли колобашками: ни пройти, ни проехать городом и некому было убраться при доме. Оказалась престольная осажденной крепостью не от крымского хана, но от повальной язвы. Уже и покойников не отпевали, не ладили им домовин, но наскоро скутывали холстами, волочили кокотами в ближайший захорон и заливали известью. У спущенных рогаток бессменные вахты жгли костры. В Скородоме по слободам вдруг взметывался в занебесье рыжий огненный лис, распустив погребальный дымный хвост: то отлетала в райские кущи чья-то безвинная страдальческая душа, а вместе с чумной проказою выгарывала до зольного пятна и осиротевшая усадьба.

И не было охотников навестить престольную; лишь порою к спущенной решетке подскакивал всполошенный царский гонец и приказывал скорее отворять ворота. Но однажды подтянулись сани, запряженные цугом, с закуржавленной избушкой и спущенным кожаным фартуком, с пятью слугами о конь. Очумел кто, чтоб самовольно попадать в ад? Иль иноземец какой решился проникнуть в несчастный город, чтоб добраться до государевой казны? Нет, то был Богдан Матвеевич Хитров, начальник земского приказа и царский спальник, срубленный в походе ляшской сабелькой. Он меркло, изнемогше утонул под медвежьи полости и, страдая от тягучей дороги, однако с упорством стремился в Москву. Какая нелегкая несла его из смерти да в смерть? Может, литовка тому виною? Не давала покоя, изводила в мыслях, чудилась и во снах, такая жаркая до нездешних любовей, в постель спряжающаяся, как на брань, в какие-то широкие пояса на голое тело с медными бубенцами и в кожаные шлеи с бирюльками. Одно слово — чертовка, огненная кобылка. Грешишься с нею — и каешься, согрешишь и вновь покаешься. Слад-ко-о... Хитров воочию увидел пред собою зеленоглазую литовку, засмеялся и забыл про раны.

Дворецкий доносил хозяину письмом, де, наведывались в усадьбу по осени патриаршьи подьяки без уговору, как в доме своем шарились в хоромах и амбарах, и крестовой полатке, и в спаленке, искали чужебесные иконы франкского письма, коих у нас от веку не водилось. Ведунья-литовка вскочила пред холопами на лавку и вдруг вскричала: «Ой, спасайтеся, волки, сейчас вода вас затопит!» И в сей миг затопило трапезную, сам тому очевидец. И владычни слуги, напугавшись, только и спаслися бегством. Но что за диво, хозяин: вода была, сам зрел, но никто не замочился. Другим днем снова явились патриаршьи слуги и увели литовку с собою, обещаясь люто постегать за чертовщину. Мы уж, грешным делом, распрощались с нею, зная, как зол патриарх до беса. Привели литовку в монастырский приказ, поставили к расспросу, и сказала девка подьячему: «Я тебя не вижу и не слышу. Я уйду сейчас, а ты меня и пальцем не тронешь». Открыла дверь и была такова. И был дьяческий сыск на литовку, но воевода князь Михаил Петрович велел отступиться от девки до вашего возвращения с походу...

А может, за нажитую гобину страшился Хитров? Мнилось маловеру, что воры и тати подорожные, безнадзорные рабичишки и холопи, что ныне во множестве разбрелись по Москве от умерших хозяев своих, сейчас ратью домогаются до его сундуков и поставцов с посудою, платна и меховой рухляди, скопленной с такими ухищрениями под рукою государя. Залетному с улицы соколу боярские бархаты в самую пору, чтоб заскорузлые плесны обмотать заместо онучек, а кизилбашские бесценные ковры ой как весело кинуть в осеннюю жирную грязь улицы и перейти по ним в краденых чоботках, не замарав узорного, шитого серебряными травами сафьяна... Ах-ах, ну до сна ли тут? И не столько гнойная рана гнетет, как те черные думы, что кречатьим клювом своим так и долбят в височную кость. Да и то поймите, христовенькие: легко ли было худородному алексинскому дворянину Хитрову взнятися наверх, выбиться в знати, встать по правую цареву руку. И все бы ладно, уж как ладно сотворилась жизнь, кабы не повенчалась вдовая церковь со спесивым чернцом Никоном: и дурь его призавесила грядущие дни Руси гибельным туманом. Иконоборец, что удумал! Решил собою великого государя заместить.

...Добрался наконец Хитров до своего имения: все вживе. И отлегло от сердца. Теперь на поправку пойдет. Дал он на радостях вольную престарелой дворне во спасение живота своего, чтоб молили Господа за щедрого хозяина. А литовка в постели пожаловалась на Захарку, де доступался до меня карла, и едва я отборонилась. И взревновав, дал Хитров вольную карле и десять рублей на домок свой, и спроводил с глаз долой, не веря, однако, наветам литовки. Пообещался Богдан Матвеевич всегда любить карлу и привечать в хоромах. С угрюмым сердцем и сухими глазами убрел Захарка на Москву, с немудрым скарбом на загорбке и шутовским своим платьем. Он едва пробивался через забои, рискуя утонуть в снегу, и удивлялся мерклости обезлю-

девшей престольной. Было время к обедне, но молчали сорок сороков Москвы и не нашлось в Чудове монахов, чтобы раскачать главный православный колокол и призвать прихожан молиться за Русь. На скудном торжище повстречал Захарка карлу Ивашку из царевой потешной палаты: покупал Ивашка миндальных ядер да калачей на корм комнатных попугаев, что были доверены государыней на сохранение. И отправились сироты в опустелый дворец, засыпанный снегами, где и поселился Захарка досматривать заморскую птицу. И жил он в деревянной келейке, дружа с истопничим Барковым двадцать недель, пока не вернулся с победного похода великий государь...

И на исходе пятьдесят четвертого года сошли на Русь знамения.

Старец Корнилий, проживавший в Чудове монастыре, увидел во сне себя в московском Успенском соборе и приметил двух «неких». Один благообразный, со старым восьмиконечным крестом, сказал: «Сей есть истинный крест». Другой, темнообразный, после борьбы одолевший благообразного, держал в руке крыж, новый четырехконечный крест и говорил: «Сие знамя ныне почитать будем».

Волжская крестьянка Иустина видела чудесный образ святого Игнатия. Он наставлял проверить новые книги, положивши их на гробницу патриарха Алексия.

Старцу Онуфрию явился епископ Павел в ясном свете и со всеми признаками законного архиерея, и Никон — весь омраченный...

«Я служил родине, как служили деды наши»

Краснов Петр Николаевич (1869—1947 гг.) родился в высокоинтеллигентной дворянской семье. После окончания Павловского военного училища служил в лейбгвардии Атаманском полку. В 1915—1916 гг. — начальник 2-й казачьей свободной дивизии.

Генерал Краснов первым выступил против революции в союзе с А. Ф. Керенским. К вечеру 27 октября 1917 года отряд Краснова захватил Царское Село и пошел на Петроград. Этот поход был впоследствии назван походом Краснова — Керенского. В своем приказе № 1 «По войскам Российской республики, сосредоточенным под Петроградом» он сообщал, что Временное правительство «насильственным путем удалено от своих постов», и призывал всех казаков — донцов, кубанцев, уссурийцев, забайкальцев, амурцев, енисейцев — «прийти и спасти Петроград от анархии» и в дальнейшем послужить родине, как служили их деды. Однако этот поход потерпел крах. И командир 3-го конного корпуса генерал-майор Краснов, пообещавший прекратить борьбу против революции, был отпущен на свободу.

Печально известная политика большевиков вызывало в сердцах казаков-патриотов протест и желание самим решить свою судьбу. Так возник вопрос об автономии. И Краснов был одним из инициаторов независимости казачьего края.

16 мая собравшийся в г. Новочеркасске «Круг спасения Дона» избрал атаманом Войска Донского генерала Краснова. Казаков поддерживала Германия. В своей речи на заседании Большого войскового круга генерал Краснов сказал: «Я обратился с письмом к императору Вильгельму. Я писал ему, как равный суверенный властитель пишет равному. Я указал ему на рыцарские чувства обоих воинственных народов — германцев и донских казаков — и просил его содействия в признании нас самостоятельным государством... и в помощи оружием. Взамен этого я обещал, что Войско Донское не обратит своего оружия против немцев, будет соблюдать по отношению к ним нейтралитет и продаст избыток своих продуктов... преимущественно им... Письмо возымело свое действие... Мы получили оружие.»

Гражданская война была жестокой с обеих сторон. Но не одно сословие не пострадало в ней так сильно, как казачество.

Высокие и прекрасные мечты свободолюбивого народа, устремленные к добру и труду, были вдруг одним махом представлены злом и ничтожеством. Любовь к царю вышла казаку боком. Все исторические заслуги и богатырство признано вредительством. А Краснов был объявлен врагом народа. В одном из декретов Советской власти говорилось: «Офицеры-заговорщики, предатели, сообщники Скоропадского, Краснова, сибирского полковника Иванова, должны беспощадно истребляться...» Наряду с этим происходят разногласия Краснова с Германией, которая не приняла независимость Дона.

14 февраля 1919 года в городе Новочеркасске Большой войсковой круг велел подать генералу Краснову в отставку, после чего он эмигрировал. Во время Великой Отечественной войны генерал Краснов вновь начал выступать за полную независимость Дона и даже собрал ополчение из казаков и был назначен начальником «Главного управления казачьих войск» при немецком министерстве восточных областей. В январе 1947 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила генерала Краснова к смертной казни. Перед расстрелом, свято веря в возрождение свободного Дона, он крикнул: «Я служил родине, как служили деды наши».

У современного читателя есть возможность убедиться в этом, знакомясь с романом «От Двуглавого орла к Красному Знамени».

Роман потрясает нас первоклассным знанием как исторических событий, так и разнообразных деталей, касающихся быта простых казаков и русского офицерства того времени. Одни главы захватывают нас мастерски описанной казачьей атакой, другие вводят в дом Государя Императора, третьи дают возможность стать свидетелями офицерского спора. И при этом Петр Николаевич Краснов не ограничивается только описательством. В его прозе первое место занимает философия, он стремится понять как непосредственный участник событий 1917 года, что же произошло с Россией в это время.

Роман «От Двуглавого орла к Красному Знамени» Петра Николаевича Краснова — объемное произведение, поэтому читателю предлагаются лишь отдельные главы. Настоящий текст публикуется по третьему изданию, пересмотренному и исправленному лично автором, которое вышло в 1930 году в рижском издательстве «Грамату драугс».

Александр БРЕЖНЕВ.

Петр Краснов

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

ИЗ РОМАНА

Трубачи всем хором ездили по деревне и играли «генерал-марш», — указывая, что время седлать. Но заботливые вахмистры уже давно распорядились седловкой, и теперь взводные по дворам осматривали людей, все ли в порядке.

Дождь зарядил на несколько дней. Мелкий, въедливый, холодный и нудный. Люди ежились в рубашках и в ожидании приказа выводить сбивались кучами под сараями. Туман лохмотьями носился над землею, и было грустно и уныло. Березы за одну ночь начали желтеть. Пахнуло осенью. Охрипшие трубы срывались с тона.

Всадники, други, в поход собирайтесь,
Радостный звук вас ко славе зовет,
С бодрым духом храбро сражайтесь,
За Царя, Родину сладко и смерть принять,—

пели они хором. В сыром воздухе они звучали печально.

Саблин спал крепким сном, и румяный Ротбек, только что приехавший из Павловска, совсем готовый, в амуниции, принимал самые решительные меры, чтобы его разбудить.

— Да вставай, несчастный! Опять без чая поедешь. А все женщины, — говорил он, глядя на брошенную на столе перчатку и ощущая в избе сладкий запах духов. — Эх, Саша, Саша!

— Ну, чего там? — ворчал Саблин.

— Проспишь маневры.

— Который час?

— Четверть восьмого, а в половине восьмого строиться.

— Успею, — и Саблин действительно успел и при помощи расторопного денщика не только оделся, но и чаю напился.

Эскадроны медленно тянулись шагом по шоссе. Офицеры группами ехали впереди. Все были без шинелей, кроме Мацнева, который закутался в непромокаемый плащ и неистово бранился за то, что командир полка потребовал для примера людям, чтобы офицеры были в кителях.

— У всякого барона своя фантазия, — ворчал он. — Он того не понимает, что солдата все одно не обманешь. У каждого офицера шведская куртка или фуфайка поддета, а у солдата ничего. Так чего же и форсить. Он тоже не хочет понять, что солдату двадцать три года, а мне тридцать. У меня ревматизм, и ежели я промокну, мне плохо будет. Вот Саше или Пику — им ничего. Им хорошо.

— Хорошо, — откликнулся Саблин. — А почему, Павел Иванович, людям не разрешили одеть шинели?

— Эх! Молода — в Саксонии не была! — сказал Гриценко. — А ты подумай. В военном деле зря ничего не делается.

— Баронская фантазия, — проворчал Мацнев.

— Чудак, ваше благородие, — сказал Гриценко, блестя цыганскими глазами. — Солдат на ночлег придет, ему укрыться надо сухим. У него ведь шинель одна — она и одеяло, и все. А если она промокнет насквозь, чем он укроется и согреется? Барон немец и солдат. Он это дело понимает тонко. Я думаю, уже двадцатый год маневрирует под Красным Селом. Было когда изучить климат.

Полк входил в Гатчино. Вправо тянулась высокая решетка дворцового парка. Плакучие ивы склонились над прозрачными прудами. Тучи клубились над густыми зарослями парковых деревьев, и печаль севера была разлита в туманном воздухе. Странный, причудливый ипохондрик Павел витал здесь своим духом, и все полно было воспоминаниями о нем.

Трубачи заиграли полковой марш.

— Песенников не вызовешь? — сказал поручик Фетисов. — Может быть, вдовствующая императрица подойдет к окну.

— И то, — сказал Гриценко и звонко закричал: Песенники, вперед!

— Какая императрица! — ворчал Мацнев. — Добрый хозяин в этакую погоду собаку не выгонит, а он: императрица подойдет! На него любоваться будет.

— Слышишь, трубачи играют, — сказал Фетисов.

— Ну и пусть себе играют, — возразил Мацнев. — Эх, людей не пожалеют! А что, Павел Иванович, как думаешь, Сакс догадается собрание в школе поставить, а? Неужели в палатке? Там школа хорошая. И учительница невредная. Совсем и на учительницу не похожа. Не нигилистка и ручки такие — прелесть! Мы позапрошлым годом чай у нее на маневрах пили. Задорная такая. А я водчонки бы теперь хватил, с паюсной икоркой. Ты не знаешь, Дудак поехал за полком? Пока там собрание и прочее... я бы того... по единой прошелся!

Песенники, согревшиеся в рядах, нахохлившиеся, сосредоточенные выезжали неохотно. Любовин и вовсе не выехал. Вахмистр сзади эскадрона увидал, что песенников мало, выскочил с палкой в руке и поехал выгонять людей вперед.

— Ты, Любовин, чаво аристократа ломаешь? Слыхал, что песенников шумят? — грозно крикнул он.

— Я не в голосе, Иван Карпович, — хрипло ответил Любовин.

— Я тебе дам, не в голосе! Артист! едрёна вошь!.. Пошел, сволочь, вперед! — и вахмистр палкой огрел по мокрому крупу лошадь Любовина. Та поддала задом, и Любовин поскакал вперед эскадрона.

Эскадрон подходил к дворцу.

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов...—

хриплыми голосами пели песенники второго эскадрона. Впереди трубачи играли «Гитану»-вальс, а сзади из третьего эскадрона гремел бубен, звенел треугольник, кто-то, заложив пальцы в рот, пронзительно свистал, и из этого гама вылетали отрывистые слова:

Носи, Дуня, не марай,
По праздни...—по праздничкам надевай,
надевай!

Полк вытягивался по подъему на круглую площадь с высоким серым обелиском и, огибая его, подходил к Гатчинским воротам. Впереди были серые чахлые поля, вдали темнел лес. Туман клубился над ним. Холодный дождь все так же сеял непрерывными струями. Над полком от лошадей поднимался белый пар...

Песенники умолкали.

Два дня было похода, и два дня лил дождь. Лицо вахмистра становилось озабоченным. Лошади худели. Они плохо выедали овес, не ложились на биваках на мокрую землю. Винтовки надо было почистить, потники просушить. Две лошади уже были подпарены на первом переходе, и виновные в недосмотре шли пешком за эскадроном.

На третий день назначена была дневка на мызе барона Вольфа «Белый дом». Офицеры строили широкие планы на эту дневку. Предполагался обед у барона Вольфа, фейерверк, музыка, танцы, песенники. Вся дивизия соединялась к этому времени и должна была стать громадным биваком на обширных сжатых полях, покрытых скирдами ржи баронского имения.

Накануне дневки, часов около трех, полк пришел на бивак. Высланные вперед, в распоряжение штаба дивизии, линейные уже провесили углы биваков, и эскадроны принялись за разбивку коновязей. Отовсюду слышался гомон людей, ржание коней. Стучали колотушки, забивавшие коновязные колья. Дождь перестал. Густой туман опускался книзу, и знатоки метеорологии говорили: одни, что это к солнцу и жаре, другие, пессимисты, уже не верили в то, что будет солнце, и говорили что, напротив, это предвещает новые дожди.

Солдатские биваки вытянулись в точной правильности по шнуру. Все было размерено аршином, седла выравнены вдоль коновязей, интервалы проверены. Сзади каждого эскадрона была поставлена большая «интендантская» четырехугольная палатка — эскадронная канцелярия, в ней на кипах сена устраивалась эскадронная аристократия — вахмистр, каптенармус, писарь, артельщик и фуражир. Подле складывали фураж, и на треугольнике из жердей привесили железные весы-безмен. Еще дальше дымили походные кухни. Они были выравнены дежурным офицером и провешены труба в трубу. Линейную красоту бивака нарушали офицерские палатки. Они были разной величины и устройства. У Гриценки с Фетисовым была круглая турецкая палатка, у Мацнева — индийская зеленого цвета с белой покрышкой, у Саблина с Ротбеком — датская домиком. Над каждой развевался свой цветной флажок. Флажки были разной величины, формы и цвета. Каждый ставил свою палатку там, где он хотел. Любители красоты поставили свое жилище у ручья в кустах, неженки, боясь сырости, удалились на вершину холма, другие, ища тишины, ушли от бивака на полверсты. Все поле кругом биваков пестрело этими палатками, придававшими лагерю вид цыганского табора.

Утро дневки было прекрасное. Солнце, не виданное три дня, выплыло на безоблачное небо яркое, радостное и жаркое. Тучи исчезли. На горизонте застыло громадное кучевое облако, залитое розовым. Вахмистры подняли людей с пяти часов утра. Работы было так много, что боялись, что не управятся за день. Кроме обычных, но усиленных чисток и уборок лошадей, надо было постирать и успеть высушить рубахи, рейтузы и белье, вымыть и высушить потниковые стельки, разобрать, отчистить и смазать ружья, побелить ремни амуниции, начистить стремена и мундштуки, протереть оголовья. С утра, в ожидании чая, биваки кишели, как муравейники. Над разложенными по стерне попонами сидели на земле полуобнаженные люди и, пока сохло их выстиранное в речке белье и рубахи, они яростно очищали части разобранных ружей. Взводные, заложив руки в карманы рейтуз, в одних нижних цветных рубахах, ходили вдоль взводов и зорко смотрели, чтобы никто не ленился и не тратил времени даром.

Трубачи протирали и начищали позеленевшие от сырости трубы, доставали ноты и проигрывали упражнения.

Рядом, в речке, казаки купали лошадей и голые разъезжали по берегу. Их рубахи, тоже постиранные, были развешены на кустах. С реки неслись крики, уханье, визг.

Этот гомон, завыванье труб нисколько не мешали офицерам спать. Было одиннадцать часов утра, а большинство палаток

было наглухо задернуто. Спали от нечего делать.

Гриценко, не одеваясь, сидел на койке и тренькал меланхолично на гитаре, Фетисов лежал, укутавшись с головою в одеяло. Мацнев у себя в палатке, тоже не одеваясь, читал французский роман «Барышня Жиро — моя жена...», Саблин и Ротбек спали так крепко, как только и можно спать в очаровательный летний день в палатке, в двадцать лет.

Денщики караулили своих господ возле палаток, с кувшинами с водой, мылом и полотенцами, с подготовленными кофейниками и чайниками.

У палаток офицерских собраний суетились повара в белых фартуках и колпаках. Там кое-кто из офицеров постарше пил кофе или чай и просматривал принесенные газетчиками свежие газеты.

Маневры для офицеров были праздником, веселым шумным пикником. Ни забот, ни трудов они не несли. Солдаты жили сами по себе, офицеры сами по себе. Вся тягота маневров ложилась на солдата. Солдату после длительного перехода приходилось зачищать и убирать лошадь, ходить за фуражом, нести его на себе, прочищать винтовку, седло, чистить сапоги. У офицера для этого были вестовой и денщик. Солдаты в кавалерии, если не становились по деревням, спали на голой земле, накрывшись шинелями, так как кавалерия не имела палаток. Многие простуживались и заболевали. Редкие большие маневры проходили без того, чтобы в каком-нибудь полку не было дизентерии или тифа. Офицеры имели собственные палатки, а в ненастье становились по избам или у знакомых помещиков и дачников. Несмотря на это, большинство офицеров не любило маневров, тяготилось ими. Кто постарше, старались «отдуться» от маневров и уехать в отпуск. Солдаты, напротив, несмотря на все тяготы и невзгоды, любили маневры. Жизнь на маневрах напоминала им деревню, они соприкасались с крестьянами, видели поля и леса, часто пили молоко, ели не только казенный, но и крестьянский хлеб. Маневры походили на войну, служба становилась осмысленной, понятной, гонялись за разъездами, брали в плен, на больших биваках встречались с другими полками, отыскивали земляков, которых давно не видели, разговаривали с ними, узнавали деревенские новости. Тяжесть работы, усталость забывались, и солдат чувствовал себя свободнее.

На биваке, пригретом солнцем, то тут, то там вспыхивали песни, слышались шутки и смех. Солдать не обращали внимания на то, что господа спят. Да и что бы они делали? Только мешали бы. Для них на дневке не было работы. Надзирателей и без них было довольно. Вахмистр и взводные не дремали. Солдаты не осуждали, но считали естественным, что Фетисов с ружьем и собакой, в сопровождении сына управляющего пошел на охоту, Мацнев, Ротбек и Сперанский отправились играть в теннис, а остальные разбрелись, кто пошел за грибами, кто лежал в палатке, или, сидя на стуле подле шатра, озабоченно чистил ногти.

На то господа. Это было два мира. Офицеры и солдаты. Два мира, живущих вместе, но недоступных один другому.

Саблин, наблюдая из своей палатки за биваком, чувствовал это. Он сознавал ненормальность этого, ему казалось, что и ему надо пойти к солдатам что-то делать, о чем-то говорить с ними. Рядом в палатке бренчал на гитаре Гриценко. Саблин подошел к нему.

— Павел Иванович, не надо ли мне пойти в эскадрон? Может быть, надо что-нибудь сделать? — спросил он.

Гриценко перестал играть, поднял на Саблина свои большие черные глаза, посмотрел на него с недоумением и сказал:

— Зачем? Только мешать будешь. Там вахмистр и взводные без тебя лучше управятся.

В пять часов пошли к помещику обедать. Когда входили, в ворота парка въезжали верхом офицеры казачьего полка, во главе с командиром, тоже приглашенные к обеду. Саблин посторонился, чтобы дать им дорогу. Впереди на соловом жеребце ехал полный генерал с красным лицом и большими седыми усами с подусниками — ни дать ни взять Тарас Бульба. Серебряная нагайка висела у него через плечо, широкие шаровары и мягкие сапоги, длинный чекмень и фуражка на затылке придавали ему лихой, азиатский вид. У казаков лошади были легче и наряднее, чем в полку Саблина. Свободно, не связанные мундштуками, подняв точеные головы с большими ясными глазами, раздувая тонкие ноздри, они проходили просторной ходьбою в ворота. Было что-то несказанно легкое в их движении. Саблин подумал про них. «Вот настоящая кавалерия».

Хозяин дома, барон Константин фон Вольф, стоял на верху открытой каменной веранды, уставленной цветами, и встречал гостей. На нем был черный смокинг поверх белого пикейного жилета и — по-летнему, по-домашнему — серые клетчатые брюки. В петлице смокинга была ленточка прусского железного креста, полученного им в последнюю войну с французами. Рядом с ним, в нарядном светло-лиловом с белыми кружевами платье стояла его жена, красивая, светлокудрая женщина, лет сорока. Она была фрейлиной Императрицы.

Столы для обеда были накрыты на лужайке под вековыми липами, посаженными, по преданию, Петром Великим, при завоевании им Ингерманландии. Под липами устанавливалось два хора трубачей и две группы песенников полка, где служил Саблин, и казачьего. Немного поодаль на специальном теннис-граунде Ротбек, Сперанский и с ними две дочери барона, двадцатилетняя София и семнадцатилетняя Вера, играли в теннис. Юноша камер-паж, племянник барона, молодой барон Корф, выходивший в этом году в полк Саблина, подавал им мячи. Обе барышни были красавицы. Ловкая, гибкая, отлично развитая гимнастикой и верховой ездой Вера каждый мяч подавала классическим жестом. Ее звонкий, чистый голос раздавался между кустов оживленный и счастливый. Офицеры группами стояли около играющих и любовались ими.

Казачьи офицеры слезли с лошадей, подхваченных лихими расторопными вестовыми, и толпою пошли за своим командиром представляться хозяевам.

Кроме офицеров, на обед приехали — жена полковника Репнина с двумя дочерьми, два барона Вольфа с женами — один Вольф Куртенгофский, у которого в гербе был черный волк на золотом поле, и другой Вольф Дростенский, у которого был золотой волк на черном поле, сосед помещик Мюллер с тремя розовыми барышнями, блондинками Эльзой, Идой и Кларой, смущавшимися перед офицерами неловкими деревенскими дичками. От них, по уверению Мацнева, молоком пахло. Платья у них были домашние, с черными бархатными, зашнурованными лентами корсажами, и они напоминали офицерам певиц-тиролек, поющих на открытой сцене. До самых танцев никто не мог открыть, говорят они по-русски или нет, а веселый шутник Фетисов сомневался даже, говорят ли они вообще. Они на все отвечали только «Ach, ja.. Ach, so!»...* или просто скромным «Ах», потупляли глаза и потели так, что пот крупными каплями выступал на лбу и груди. И только за танцами оказалось, что они окончили гатчинскую гимназию и отлично говорили по-русски и, значит, поняли все те пошлости, что, не стесняясь, отпускали на их счет офицеры. Это, впрочем, не помешало им быть очень благосклонными к своим кавалерам. Было и еще несколько помещиков-немцев, названных бароном общим именем — «мон друзья!»

Сам барон приветствовал каждого гостя долгим пожатием руки, причем ласково заглядывал в глаза и говорил «Прошу, пожалюста!»

Несмотря на то, что барон родился в России и всю жизнь прожил в России, он по-русски почти не говорил. Компанию ему сейчас же составил барон Древениц, и они заговорили по-немецки.

Трубачи заиграли марш, и кавалеры, у кого нашлась дама, пошли под руку к столам. Случайно так вышло или это нарочно подстроила княгиня Репнина, знакомившая в эту минуту Саблина с баронессой Верой, но ему пришлось идти к столу с ней. Его сердце дрогнуло, когда он почувствовал худенькую, детскую руку, доверчиво оперщуюся на его локоть. Он посмотрел в ясное лицо девушки. Невинные, чистые глаза устремились на него с искренним восхищением, и Саблин смутился. Ему стало стыдно под этим чистым взором.

Казачий генерал был кавалером хозяйки дома. Он был старшим гостем, давно знал баронессу и ухаживал за нею, рассыпаясь комплиментами.

— Как хорошеет Вера, — сказал он.— Какая дивная она пара с этим молодцом корнетом. Кто это такой?

— Не знаю, — сказала баронесса, щуря свои прекрасные, близорукие глаза и грациозным жестом прикладывая к ним лорнет. — Его представила княгиня Репнина. Это достаточная рекомендация.

— Вера кончила уже институт?

— Да, в этом году. С шифром.

— Будет жить в деревне? Ведь она такая любительница природы. Она у вас и с ружьем охотится?

— Они обе у меня сумасшедшие. Скачут по лесам, совсем как мальчишки. Но только теперь она останется в Петербурге, я хотела бы, чтобы она была ко двору представлена и попала со мною на коронацию.

— Иван Кузьмич, — обратился к казачьему генералу через стол своим хрипловатым голосом Степочка Воробьев. — У нас тут спор с вашим полковником о джигитовке. Скажите: имеет джигитовка какое-нибудь боевое значение?

— Бессмыслени кувырканий на лошадь, — сказал барон Древениц. — Казацки глюпость. Нога, рука ломать, лошадей портить.

Казачий командир сердито сверкнул глазами и громко отвечал Степочке:

— А как же! — громадное воспитательное значение. Она приучает казака презирать опасность, делает его смелым и развязным на коне.

— Да, да, все это так, — сказал Степочка, — нет, а на войне вам приходилось подметить, что джигитовка нужна?

— Конечно, — отвечал казачий генерал. — Я помню два случая... А их, я уверен, были тысячи. Как сейчас помню, под Карагасан-киоем казака Пимкина. Коноводы в балочке сзади. Башибузуки наседают. Надо уже уходить. А Пимкин замешкался. Все поcели на коней, он один остался. Наконец, уже под самыми башибузуками бежит к коню. Коновод бросил ему лошадь, а сам уходит. Лошадь поскакала за другими. Пимкин только ухватиться успел за луку. Джигит он был хороший. Повис, поджал ноги. Висит на луке, скачет добрый конь. Выждал Пимкин, дал толчка ногами о землю и очутился в седле. Оборвись он, не сумей вскочить — разорвали бы его башибузуки!

— Ну, а другой случай? — спросил князь Репнин.

— Про другой мне рассказывал сам участник, урядник Быкадоров. Настиг его башибузук. Скачут рядом. Быкадоров хотел ударить шашкой башибузука, но тот ловко подставил клинок своей сабли. Закалка ли златоустовского клинка была плохая, или что, но клинок у Быкадорова разлетелся от могучего удара, как стеклянный. Смерть неминуемая. Тогда Быкадоров быстро свинился за лошадь, как на джигитовке, когда

---

* «Ах, да!.. Ах, так!..» (нем.).

землю достают. Башибузук ударил, и удар пришелся по воздуху. А Быкадоров, вися вниз головой, вытянул берданку из чехла — тогда, помните, в кожаных чехлах их возили, приподнялся и пулей в живот уложил башибузука.

— Ловко, — сказал Степочка.

— Что такое джигитовка? — спросил барон Вольф.

— А вы никогда не видали джигитовки? — сказал казачий генерал.

— Нет. Не видал.

— И вы, баронесса, не видали?

— Нет.

— И ваши милые дочки?

— Где же им видеть.

— Ну, так я угощу вас своими молодцами. Да и сам тряхну стариной, проджигитую перед прелестной хозяйкой, — и казачий генерал галантно поцеловал руку баронессы.

— Платоныч! — крикнул он на другой конец стола своему адъютанту.

Адъютант, толстый мужчина, в пенсне и в рыжеватых усах с подусниками, начинавший лысеть, подошел к генералу.

— Пошлите-ка кого из трубачей на бивак, пусть джигиты прискачут сюда... полковые, человек двадцать. Да моего Взрыва пусть вестовой подаст.

— Слушаю, — отвечал адъютант.

— Боже мой, — сказала баронесса, — неужели и вы, генерал, будете джигитовать?

— А отчего нет, милая барыня, — сказал генерал. — Вы пожалуйте мне ваш платочек, я его положу на траву и подниму его себе на память о прекрасной даме.

И разошедшийся генерал пошел отбирать платки от дам и барышень.

Двадцать казаков-джигитов приехали и слезли на окраине лужайки. Лихой рыжебородый вахмистр, силач и великан, полным карьером подлетел к генералу и осадил коня так, что он присел на зад и вытянул передние напруженные ноги вперед.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство, — доложил вахмистр, прикладывая руку к фуражке. — Привел джигитов.

От могучей раскормленной фигуры вахмистра с громадной рыжей бородой, насупленными бровями, широкоплечей, грудастой, с громадными руками веяло первобытными временами. И он, и вороной его разъевшийся конь проснулись в бронзу, на статую.

— Господа офицеры, — крикнул генерал, — по коням, джигитовать! Хорунжий Коньков, распорядитесь джигитами.

Высокий, худой офицер с густыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, подбежал к генералу.

— Разложите платки, Коньков, — ласково сказал генерал, — а этот я сам положу — особо. Вера Константиновна, ваш платочек?

— Я дала, — смущенно сказала девушка.

— Где же?

Девушка подошла и показала маленький ажурный платочек.

— Нелегко поднять такую крошку, — сказал генерал. — Ну, Коньков, это ваш, смотрите, не осрамитесь.

— Постараюсь, ваше превосходительство, — сказал молодой офицер.

Отодвинули столы, за которыми пили кофе и ликеры. Трубачи и песенники стали стеной по другую сторону. Дамы и гости вышли из-за столов, чтобы смотреть джигитовку. Вестовой казак бегом подвел генералу его солового коня. Генерал проверил подпруги, скашовку * и легко, берясь по-калмыцки правой рукой за переднюю луку, сел на коня.

Сначала джигитовали офицеры. Первым проскакал генерал и, несмотря на свои седины и значительную полноту стана, легко согнулся и концами пальцев достал платок хозяйки дома и на скаку поцеловал его. Смуглый офицер вскакивал и соскакивал на полном карьере, Коньков на золотистом, сверкающем на заходящем солнце червонцами жеребце, легко согнулся тонким станом и из десятка платков, раскиданных по траве, без ошибки выхватил платок Веры Константиновны и потряс им над головой.

Целой ватагой, группой, стоя на седлах с винтовками в руках, проскакали казаки и выстрелили вверх. Потом началась одиночная джигитовка.

На ловком гнедом коне скакал молодой черноусый казак. Едва поравнялся он со зрителями, быстро перекинул правую ногу через переднюю луку, соскочил на землю, коснулся ногами земли и очутился сидящим задом наперед на шее лошади. Он сейчас же соскочил снова на правую сторону лошади и вскочил прямо в седло и так проделал несколько раз.

Другой скакал вниз головой, упершись плечами в подушку седла и вытянув чуть согнутые в коленях ноги. Третий соскакивал с лошади, делал сильный толчок о землю и перелетал через седло и снова порхал над лошадью, не касаясь седла.

Этот привел в восхищение не только дам, но и офицеров, и солдат-трубачей, и песенников.

— Такими надо родиться! — сказал князь Репнин.

— Степь родная воспитывает такими. Ведь это лучшая забава наша по станицам и хуторам, — сказал казачий генерал. — Уничтожьте джигитовку — и вы уничтожите казака!

Один казак хотел что-то сделать, но, верно, ему не удалось, он упал с лошади, перевернулся и остался лежать на траве.

Дамы заахали. Офицеры хотели броситься помочь ему, но генерал остановил их.

— Оставьте, — сказал он, — это нарочно. Игра такая. Сейчас подскачет другой,

* Скашовкою называется ремень, соединяющий у казачьего седла путлица обоих стремян под животом лошади и позволяющий казаку нагибаться и доставать руками землю на скаку лошади.

положит свою лошадь и увезет мнимого раненого.

Но он ошибся. Из толпы казачьих песенников выбежало несколько человек и унесли казака. Он расшибся.

— Платоныч, — сказал генерал, — узнайте, в чем дело.

Адъютант побежал к песенникам и сейчас же вернулся.

— Ничего серьезного, — громко сказал он, — уже садится на лошадь. Сейчас скачет.

А потом, отведя генерала в сторону, тихо сказал:

— Сложный перелом голени.

Джигитовка продолжалась. Скакали группами. Два казака скакали на одной лошади лицом друг к другу, один сидел на шее, другой на крупе, позади седла, и оба делали вид, что играют в карты. Двое скакали рядом, а у них на плечах стоял хорунжий Коньков. Каждая группа была риском разбиться насмерть в случае, если лошадь спотыкнется, каждая требовала силы рук и ног и уверенности в мускулах, каждая была своеобразно красива, но смотрели их уже не столько с восхищением, сколько с сердечным волнением. Гости поняли, что это риск.

Когда последняя группа проскакала, казачий генерал поблагодарил джигитов и отпустил их на бивак.

— Ви позволяйт, — сказал барон Вольф, я им угощение дам. Пива, водки, колбасы, сытного хлеба.

— Пожалуйста, — сказал генерал. — Очень вам благодарен. Только водки много не давайте. Им в два часа ночи выступать на маневр.

— О, по единой шкалик, — щеголяя русским выражением, сказал барон Вольф.

Гости сели за прерванные ликеры. Песенники казачьего полка подошли к столам. Любовин, бывший со своими песенниками, подошел поближе. Ему хотелось наблюдать и слушать казаков. Он хотел их понять. Казаки отличались от солдат. Длинные, в скобку остриженные волосы, красивыми кудрями выбивавшиеся из-под фуражек, придавали им свободный, не солдатский вид. Много было бородатых с широкими волнистыми бородами. Казаки были шире в плечах, могучее, развязнее, чем солдаты, не так тянулись перед офицерами. Лица не были тупые, смотрели весело и проницательно. Красавец урядник, высокий, стройный, с черными маленькими усиками и черными кудрями, молодец и лихач-кудрявич, вышел перед хором, обвел его черными глазами и страстно, скороговоркой, сказал:

— Нам сказали про Польшу, что о... о...—

он остановился и бросил отчетливо:

— Богатая.

И более протяжно выговорил, как бы с разочарованием:

— А мы разузнали: голь проклятая.

И сейчас же хор вступил плавными аккордами, все время прерываемыми звонким тенором подголоска с бесконечными переливами нот:

— А в этой во Польше — корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.
А в этой корчемке — три молодца пьют,
Прусак, да поляк, да млад донской казак.

— Записать эту песню, — думал Любовин, — невозможно. Да и запомнить мотив трудно. Азиатчина какая-то! Дикая песня. Но мелодия есть. Какая-то тоже дикая.

Любовин присматривался к лицам казаков. Чисто русские это были лица, как на картинах Московского периода. «Ни дать ни взять — московские бояре, рынды, стрельцы — не современные лица, и песни не современные, — думал Любовин. — Такой музыки теперь нет. Ей аккомпанировать на скрипке или на фортепиано нельзя, разве пастушья свирель уследит за этими переливами голоса, что делает подголосок высоким, покрывающим хор тенором».

— Прусак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет,
Казак водку пьет — да ничто не кладет.

«Хорошо! — подумал Любовин. — Корнет Саблин говорит нам всегда, что песня должна воспитывать солдата. Вот эта песня, что точно воспитает солдата. Недаром про казаков и слава идет: воры казаки».

— Он по корчме ходит, шпорами гремит,
Шпорами гремит, шинкарку манит.
Шинкарочка, душечка, пойдем со мной,
Поедем со мной да к нам на тихий Дон.
У нас на Дону да не по-вашему,
Не сеют, не жнут да не ткут, не прядут,
Не ткут, не прядут, а хорошо ходют!

«Но почему же это так? Как разрешили эти люди социальный вопрос и устроили райское житье у себя, на Дону», — подумал Любовин. И сейчас получил ответ:

Соглашалась шинкарка,—

пели казаки, —

Да на [illegible]
Садилась шинкарка да на доброго коня,
Поехал казак да во темный лес,
Повесил шинкарочку да на сосенку!..

Заканчивалась песня трагедией женской доверчивости, но ни напев, ни лица казаков не выражали печали, скорби или возмущения таким преступлением. Все было так же просто, как проста была и песня.

«Хороша мораль!» — все думал Любовин. Он посмотрел на офицеров, на дам. Они смотрели на казаков с восхищением. Любовин смутно догадался, что и теперь разбойник всегда найдет уголок в женском сердце.

К нему подошел Саблин.

— Любовин, — сказал он ему, — собирай наших. Споем после казаков.

— Невозможно, ваше благородие, — с горечью сказал Любовин.— Разве наша песня пойдет после ихней! Пресна покажется. Тут свист и шум только и нужен. Увольте, ваше благородие.

И Любовин повернулся и пошел от Саблина. Саблин не рассердился. Он понял его: самолюбие артиста.

Казаки пропели еще одну песню, а потом было решено танцевать. Уже давно около площади толпились мызные работницы, эстонки в праздничных платьях, смотрели на солдат и казаков, и казаки и солдаты смотрели на них.

Трубачи заиграли вальс. Офицеры пошли приглашать дам. Но барышни Вольф отказались, они боялись испачкать о сыреющую в вечерней прохладе траву свои белые башмаки и чулки. Стали было танцевать три розовые Мюллер, но увидали, что они одни, смутились и бросили. Лужайка опустела. Работницы не решались. Танцы не клеились.

— Нельзя ли польку, — сказал барон, — наши больше польку танцуют.

Оркестр заиграл польку. Старый барон выбрал самую хорошенькую эстонку в синем платье с зелеными и желтыми лентами и пошел с нею к общей потехе. Его примеру последовали работники, стали выходить, смущаясь, солдаты, подталкиваемые офицерами, за ними казаки, и вскоре вся лужайка и песчаная площадка наполнились танцующими. Гремел и гремел неутомимо то тот, то другой оркестр польку, и сотни башмачков отбивали такт: раз, два, три; раз, два три!..

На потемневшем небе играли далекие зарницы; у самой чащи парка оружейный мастер с обозными солдатами заканчивали сооружение фейерверка. Вспыхнула и, шипя, полетела к нему ракета и лопнула яркою звездочкой, за ней полетели цветные римские свечи, огненный фонтан запылал и вспыхнул изображенный бенгальскими огнями вензель шефа полка.

Танцы на минуту затихли, но сейчас же снова возобновились. Выпившие пива и водки казаки и солдаты стали развязнее, весело смеялись эстонки. Офицеры кто пил чай за столом, кто пошел бродить по парку. Барышни Мюллер ушли с Коньковым, казачьим адъютантом и Фетисовым и визжали на весь парк, когда лягушка выскакивала у них из-под ног.

Смоляные бочки пылали по краям лужайки. Там кружились пары, гремела музыка и маленькие башмачки и сапоги со шпорами отбивали веселый такт: раз, два, три... раз, два, три!..

Любовин пошел в темную аллею. Ему хотелось быть одному. Все, что он видел, казалось ему сплошною мерзостью, издевательством над личностью человека. Особенно возмутили его казаки. «Хороши вольные люди, — думал он, — кувыркаются на потеху господам, ломают ноги для толстого немецкого помещика за бутылку скверного пива и стакан вонючей водки!»

Кто-то нагонял его. Он остановился и в темноте совсем неожиданно столкнулся с Коржиковым. На Коржикове был помятый пиджак поверх красной кумачовой рубахи и большая кожаная сумка с газетами.

— Здравствуйте, товарищ, — ласково сказал Коржиков.

— Какими судьбами? — спросил, с удивлением оглядывая Коржикова, Любовин.

— Как видите — газетчиком. За ваше дело, Виктор Михайлович, взялся. Решил вам помочь. Изучить вопрос на месте.

— Смотрите, голубым архангелам не попадитесь. Да и кроме них, много здесь всякой пакости бродит. Вот, хотя взять этих самых казаков. Видали?

— Видал. Я ведь, Виктор Михайлович, осторожен. Langsamruhig*... Обыщите меня, кроме «Русского инвалида», «Нового времени», «Петербургской газеты» и «Листка», ничем другим не торгую. Даже «Биржевых» не имею. Наиблагонамереннейший газетчик, Виктор Михайлович!

— Ну, а документ где получили? Ведь вы, поди-ка, в охранной записаны?

— Всенепременно... Кличку даже имею: «Рыжий жук»... Документы? Партия мне изготовила. Комар носа не подточит. Городовые пальто смотрели — ничего не учуяли. Если когда какой документ понадобится — милости просим. Такая тонкость работы! Каменского подпись — chef d'oeuvre**.

— Завидую я вам, Федор Федорович. Какой характер у вас! Вы, поди, и в русскую революцию продолжаете верить?

— Верую-с! И утверждаю-с, что такого прыжка к осуществлению социальных проблем никакая революция не давала, какой даст наша.

— После дождичка в четверг.

— Ну, может быть, и раньше. Это там видно будет. Армию, Виктор Михайлович, колебать пора. Понимаете?

Любовин остановился и со злобою сказал Коржикову:

— Видали джигитовку?

— Наблюдал-с, — спокойно сказал Коржиков.

— Чего вы хотите, если человек за пятиалтынный ногу ломает, калекой, может быть, на всю жизнь становится. Я видал и его, и его товарищей. Вы думаете — злоба, отчаяние, — ничего подобного. Товарищи смеются. «Ты, — говорят, — Зеленков, сам виноват, зачем боком повис, вот она тебя и ударила». Это лошадь-то! А он говорит: «Уже и не знаю, как у меня рука осклизнулась. Бог попутал». Пока у них Бог да черт за все отвечать будут, их не свернешь. И после этого восхищались своим генералом: «Наш-то, наш-то, платок достал!..» Тьфу! А морду вахмистра видали? Емелька Пугачев! Наш Иван Карпович — херувим по сравнению с ним.

— Наблюдения хорошо сделали, Виктор Михайлович, а выводов сделать не сумели.

— Какие выводы! Люди разбой и виселицу открыто воспевают и рядом, на потеху господам, ноги ломают. Темнота! Ди-

* Медленно, спокойно (нем.).
** Образец (франц.).

кари! Бог наверху, черт внизу, а над всем этим царь и господа.

— А вот, вы Бога-то уничтожьте, а? Черта служить себе заставьте, вот оно, как на саночках под горку, у вас и пойдет.

— Не знаю, как и приняться, — вздохнул Любовин.

— Без офицера не обойдется. Я с вашим Сашей познакомился. Душевный барин. И херувим писаный.

— Когда?

— А вот, когда вы петь отказались и грубо так отойти изволили, я с газетой к нему подкатился. Хороший барин. Двугривенный за «Новое время» дал и сдачи не взял.

— Вы смеетесь, Федор Федорович.

— Ничего подобного. Разглядел я его. Я ведь физиономист. Податливый парень. И, Виктор Михайлович, сердитесь вы или не сердитесь, а без Марии Михайловны нам тут не обойтись.

— Федор Федорович, — с негодованием воскликнул Любовин, — я только потому прощаю вам то, что вы говорите, что вы сами не понимаете, чего хотите. Я год прожил в казармах. И я знаю, что такое все эти папиросницы и прачки, которые ходят по офицерским квартирам. И Маруся,— вы понимаете, Федор Федорович, — никогда в такой роли не явится.

— Я это понимаю лучше вас, — спокойно сказал Коржиков. — Марию Михайловну я люблю, вероятно, не меньше вашего. Но у меня иные планы и иные пути.

— Какие?

— Дайте все продумать и все приготовить. Дайте саму Марию Михайловну подготовить к этой вдвойне опасной работе.

— Почему вдвойне?

— А если Мария Михайловна влюбится? — чуть слышно сказал Коржиков.

— В офицера? Маруся? Что вы? Вы с ума сошли!

— Хорошо, если так!

— Ей может угрожать только насилие.

— До этого не допустим-с.

Они подходили к бивакам.

— Ну, до свидания, Виктор Михайлович. Тихонько-то продолжайте свою работу... Эк их, как разошлись! А ведь завтра дождь будет.

Он пожал руку Любовину. Любовин пошел к вахмистерской палатке. Коржиков остался в аллее парка и смотрел, как на другом конце ее ярко светилась, озаренная кострами и бенгальскими огнями, площадка. Там какими-то фантастическими тенями кружились в пляске люди. Попадут в отсвет костров, покажутся большими кроваво-красными призраками и исчезнут в дымном сумраке темной ночи под тучевым нахохлившимся небом.

Коржикову казалось, что через надоедливые звуки танцев, фальшиво играемых уставшими трубачами, он слышит звон солдатских шпор и притоптывание женских башмачков в такт польки: раз-два-три!.. раз-два-три!..

Он злобно улыбнулся.

«Когда-нибудь допляшутся!» — подумал он и зашагал в ночной темноте к далекой станции железной дороги.

Большой маневр должен был начаться столкновением кавалерии. Разведку было приказано выслать в 2 часа ночи.

На лугу, у господского дома, еще танцевали, и прислуга собрала ужин для засидевшихся господ, когда адъютант вызвал Саблина и сказал ему, что, так как поручик Фетисов слишком много выпил и ему неудобно в таком виде ехать в разъезд, командир полка приказал ехать Саблину. Саблин не возражал. Он прошел на бивак, приказал денщику разбудить вестового, поседлать лошадь и подать ее вместе с разъездом к дому управляющего на шоссе, а сам, с казачьим офицером, у которого был фонарь, отправился пешком в штаб дивизии получить задачу.

После кутежа, музыки, песен, танцев и женского смеха Саблину странно было увидать бледные сосредоточенные лица старшего адъютанта штаба дивизии, капитана генерального штаба и молодого армейского ротмистра, причисленного к академии, склонившихся над большой пестрой картой. Они были так серьезны, как будто бы это была настоящая война. Рядом за перегородкой помещался начальник дивизии с начальником штаба. Они не спали.

Начальник дивизии спросил, кто пришел, и старший адъютант ответил, что пришли начальники летучих разъездов.

Начальник дивизии, толстый, старый генерал в уланской форме, вышел к ним. Он стал объяснять задачу, и весь вид его говорил: «Смотрите, не подведите и сделайте так, чтобы маневр разыгрался удачно и красиво».

— Главное, — говорил он, — донесения, господа; не ленитесь посылать мне донесения... Освещайте мне каждый шаг противника.

Казачий офицер тщательно записывал все в полевую книжку. Саблин надеялся на память.

— Ну, с Богом, господа! Смотрите же — донесения! — сказал им начальник дивизии.

Саблин вышел на крыльцо. Со света ему показалось так темно, что он не увидал своей лошади.

— Сюда, ваше благородие. Тут я, — сказал ему вестовой и, взяв за руку, подвел к лошади.

— А разъезд?

— Здесь, ваше благородие, — услыхал он солидный голос взводного Балатуева.

Саблин ничего не соображал. Там, в комнате на ярко освещенном керосиновой лампой плане, он отлично понял, что надо ехать все прямо по шоссе, бледно-малиновою лентою прорезавшему зеленые пространства лесов, что, проехав шестнадцать верст, должны были выехать на поляну с маленькой чухонской деревушкой не то Лен-

нелева, не то Неннелева, что потом будет поляна, бугры, потом большая деревня Колосово и за ней можно ожидать встречи с разъездами неприятеля. Оттуда надо было послать первое донесение. Но сейчас он совсем запутался в темноте. Дом управляющего стоял в лесу, и шоссе шло мимо него. Но куда ехать? Направо или налево?

Взводный вывел его из нерешительности.

— Направо, ваше благородие, — сказал он и, не дожидаясь приказания, выслал дозорных.

Стук подков по щебню шоссе стал затихать, когда Балатуев почтительно сказал Саблину:

— Пожалуйте ехать.

— Справа рядами, левое плечо вперед, — скомандовал Саблин, — шагом марш!

Сырой и душный мрак окружил его. По обеим сторонам шоссе тянулся густой хвойный лес. Пахло хвоей, можжевельником и сырым болотным мхом. Прямое шоссе, покрытое лужами вчерашнего дождя, чуть серело впереди. Саблин его сначала и вовсе не видал и удивлялся, как верно и ровно шел его Мирабо.

Проехали с полчаса. Саблин остановил разъезд, приказал слезть и осмотреть подпруги и вьюки. Так следовало по уставу.

— Можно курить, — сказал он, чувствуя, как ему самому мучительно захотелось папиросу.

Красными точками вспыхнули огоньки и на мгновение осветили неподвижно стоящих, казавшихся громадными в темноте, лошадей.

В лесу было тихо. Слышно было, как в придорожной канаве журчала вода и иногда капель упадала в нее с ветки и звенела. Лес надвинулся, глухой и темный.

Сели на лошадей. Надо было идти рысью и шагом, но Саблин побоялся в этой темноте идти рысью и все шел шагом.

Мерно стучали подковы колес на шоссе. Ночь убывала. Мутный и сырой, наступал рассвет. Стали видны деревья, телеграфные столбы уныло гудели по сторонам. Туман поднимался кверху и клубился над лесом, сбиваясь в серые тучи.

По расчету Саблина, он уже достаточно отъехал и пора было бы быть лесной поляне и деревушке, но по-прежнему глухой и сумрачный лес окружал его. Пошел мелкий, пронизывающий дождь, моросивший, как сквозь сито. Лес оборвался сразу, упершись в песчаные бугры, поросшие вереском и покрытые старыми пеньками. Впереди, за туманной завесой дождя, показались маленькие, темные домики. Саблин вздохнул свободнее. Ему все казалось, что он не туда едет.

— Ваше благородие, — услышал он тревожный голос Балатуева. — Гусары!

Весь разъезд беспорядочно, увлекая за собою Саблина, поскакал по шоссе. Саблин оглянулся. Справа и слева, прямо по рубленому лесу, полным карьером наперерез его разъезду неслись в белых рубахах и алых фуражках гусары.

Непонятный и, как потом сознавал Саблин, глупый и неосновательный страх и волнение охватили его.

Он дал шпоры Мирабо и могучим махом, и Саблину казалось, очень быстро, стал подаваться по шоссе, боясь посмотреть, что делается сзади. Вдруг слева от него появилась вытянутая серая лошадиная морда скачущей лошади, маленькая, поджарая, загорелая рука схватила его руку в белой промокшей перчатке и, сильно надавливая, задержала ход лошади.

— Не тратьте, куме, силы: опущайтесь, куме, на дно. Нас больше, вы в плену, — услыхал он спокойный голос.

Рядом с ним скакал на прекрасной поджарой лошади молодой поручик с небольшими русыми, распушенными на концах, усами. Саблин его сейчас же узнал. Это был знаменитость скакового поля, известный спортсмен — Ламбин.

Пошли шагом. Гусары, их было восемнадцать человек бравых ребят, в промокших рубахах, окружили людей Саблина и весело болтали. Саблинский разъезд в мокрых, неуклюже топорщащихся шинелях имел сконфуженный и далеко не бравый вид.

— Как же это?.. Дозоры-то наши! Ах, и дозоры, — говорил сзади Балатуев.

— А вы бы, — отвечал ему Ламбин, — еще выше подняли воротники; едут, смотрят вперед, а по сторонам ничего не видят Где же ваши боковые дозоры?

Саблин чувствовал себя уничтоженным перед своими людьми. Почему он не послал боковых дозоров? У них никогда не посылали, чтобы не топтать травы. Но тут и травы не было. Было песчаное поле, поросшее никому не нужным вереском, и он не послал дозорных. Почему? Да потому, что никогда не думал о маневре. Маневр был для него: обед у барона Вольфа, знакомство с прелестной девочкой, баронессой Верой Константиновной, трубачи, песенники, джигитовка казаков, танцы, фейерверк и только... но никогда не плен, не писание донесений, не работа в поле. Что такое работа на военной службе, он не знал. Военная служба для него была праздник. Саблин взглянул на Мирабо. Густая белая пена проступила из-под ремней подперсья, он тяжело дышал и шел, отфыркиваясь, он не привык скакать. Рядом изящная серая кобыла Ламбина шла воздушно, дышала, как будто бы только что из конюшни и нисколько не согрелась. Она была работана для маневра, для боя, для войны. Саблин посмотрел и на Ламбина. Он подъезжал к чухонской избушке. Там стоял дневальный гусар, ожидая разъезд.

— Очередные! — крикнул Ламбин, и два гусара отделились от разъезда, чтобы везти донесение.

— Подождете донесения Унтер-офицер Светозаров, напоить людей чаем и молоком. Двадцать минут отдыха, — приказал Ламбин.

«Он живет маневром, — думал Саблин, — живет людьми, вероятно, думает о войне и к ней готовит людей. Да и люди у него особенные. Легкие, проворные, делают все сами». Саблинский разъезд стадом заехал во двор и не знал, слезать или нет. Им опять-таки Ламбин распорядился.

— Слезайте же, — крикнул он солдатам Саблина. — До конца маневра останетесь Выспаться можете, поди, устали. Мои ребята вас чаем напоят. Ваша фамилия, корнет? — обратился Ламбин к Саблину. — Имя и отчество?

Он слез с лошади и любовно потрепал ее по шее и по щекам. Лошадь понимала его ласку, она следила за ним, как собака, темными умными глазами.

Ламбин вошел в избу, кинул по-чухонски несколько слов хозяину и сел писать донесение. Написав и отправив очередных, Ламбин серьезно посмотрел на Саблина.

— Ну, корнет, было бы это на войне, я бы обезоружил вас и ваших людей, отобрал бы лошадей и под конвоем четырех гусар отправил бы вас в тыл. Таким образом, для своего отряда вы исчезли. На маневре, конечно, мы этого делать не будем. Я оставлю вас здесь, но вы дадите мне слово, что до конца сегодняшнего маневра вы не подойдете к своему полку и ничего ему ни писать, ни посылать не будете. Идет?

— Конечно, — смущенно пробормотал Саблин.

Гусар принес чайник с чаем, хозяин подал стакан и рыжую с красными цветами чашку.

— Как у вас все это налажено, — сказал Саблин. — Совсем люди особенные.

— Люди везде одинаковые, только воспитание разное.

— Как я хотел бы ближе познакомиться с тем, как делать солдата.

— Пикниками поменьше заниматься. Мы сегодня ночью без ошибки по вашим ракетам и римским свечам определили, где вы ночуете. Благодаря этому вместо шести разъездов послали только три и вышли верно, да и знаем, что столкновение произойдет вот здесь... Хотите — будем знакомы и впредь. Приезжайте в полк, спросите меня в четвертом эскадроне. Я всегда в полку. Ну, а теперь до свиданья.

Ламбин торопливо выпил чашку чая и вышел на двор. Саблин пошел его провожать. Он видел, как далеко впереди все время маячили его дозоры и как по знаку Ламбина они пошли вперед и врезались в лес.

Дождь сыпал неугомонный, скучный, в избе было сыро, пахло мужиком и овчиной, по маленьким стеклам непрерывно текли струи воды. В углу, где на стене висели портреты Государя и Государыни, литографированная картина «Ступени человеческой жизни» и портрет французского президента Фора в черном фраке и красной ленте, на лавке сидел старый чухонец и молча сосал трубку...

Намокшее тяжелое пальто давило на шею. Амуниция стесняла. Саблин снял с себя амуницию и пальто и прилег на лавку, подложив пальто под голову.

Чухонец сидел, не шевелясь, в углу, и сипло хрипела его докуренная трубка. Дождь уныло бил в стекла и нагонял тоску. Саблин вытянулся, зевнул и заснул крепким сном.

— Ваше благородие, вставайте, идут! — тихонько входя на носках в избу, сказал Балатуев. Он все так же был в мокрой шинели и при амуниции.

— Кто идет?

— Самой противник

За окном слышался мерный топот многих сотен конских ног.

Саблин вышел на крылечко. Мимо него просторною рысью шли по обеим обочинам шоссе уланы. Мокрые рубахи были заляпаны грязью. За кокарды были вставлены веточки березы, лица были мокрые от дождя, лошади блестели и казались темно-бурыми. Они проходили эскадрон за эскадроном, и за ними далеко были видны серые колонны и красные, потемневшие от дождя шапки гусар.

Впереди раздался трубный сигнал, несколько голосов в разных местах закричало, и Саблин увидал, как эскадроны стали сворачивать с шоссе, прыгать через канаву и все поскакали вперед к опушке леса. Там поле было покрыто скачущими всадниками той дивизии, где был полк Саблина.

Сбоку разворачивались длинными линиями казаки, но против них бросились драгуны и часть гусарских эскадронов, и на просторной поляне стали видны линеечки эскадронов, несущихся в атаку. Со звоном и грохотом перелетала через канаву конная батарея, и пушки спешили занять фланг. Кто-то упал. Чья-то лошадь, вымазанная грязью, без седока, задрав кверху хвост и беспокойно ржа, догоняла свой эскадрон, а упавший белым пятном лежал между пеньков рубленого леса, и к нему, прыгая по кочкам, катила большая белая лазаретная линейка с красным крестом.

В тумане непрестающего дождя края этой картины скрывались, и Саблин не мог разобрать, что делалось там, где казаки столкнулись с гусарами и драгунами.

Все это было красиво, как на картине, и потому казалось Саблину неправдоподобным.

«Разве так может быть? — думал он, — на настоящей войне? Разве это возможно? И, если возможно, то, Господи, какой же это ужас, война!»

— Ваше благородие, — прервал его размышления Балатуев. — Можно ехать?

Он помог одеться Саблину, и Саблин поехал мимо слезших с лошадей улан, атаковавших эскадрон Гриценки, к своему полку.

— А, Саша, — ласково сказал ему Гриценко, стоявший с уланским ротмистром впереди эскадрона. Намок, озяб, устал?

А нас еще куда-то гонят. Черт бы их побрал! Надоело, да и есть безумно хочется. От вчерашнего баронского пойла голова трещит.

— Наш маркитант, должно быть, подъехал, — сказал улан. — Пройдемте закусить.

— Добре, — сказал Гриценко и пошел с уланом.

— Корнет, пожалуйте, по рюмочке старки.

Саблин пошел с ними. Про плен, про то, что он не послал ни одного донесения, никто не говорил ни слова. Точно это было в порядке вещей. За рюмкой старки, за бутербродом с ветчиной маневр был позабыт.

Его разбирал среди группы полковых командиров посредник, и он указывал на то, что эскадроны недостаточно равнялись и многие атаковали впустую, не нацелив противника. О разведке совсем не говорили.

— Вот у вас, барон, — говорил Древеницу толстый уланский генерал, — только один эскадрон попал на противника, а остальные так, зря. Хорошо, что Государя не было. Недостаточно лихо шли. Ваши атаковали рысью.

— Так ведь поле какое, — сказал сосед Древеница. — У меня и так один солдат убился.

— Поле?.. Да, поле нехорошее, но знаете, господа, требования великого князя?

Командиры полков разъезжались с разбора недовольные. Древениц тяжело подпрыгивал на своем сытом Хёентере и ворчал по-немецки:

— O, Donnerwetter! Этакий дождь. Этакое поле. Aber natürlich *, что люди падают... Полк! — закричал он сиплым басом,— сад-дись! — и поднял над головою свой стик с рукояткой в виде лежащей голой женщины.

Эти большие маневры были отлично задуманы и разработаны. В них была идея. Они должны были показать, что подступы к Петербургу очень трудны, что преодолеть бесчисленные болотные дефиле нелегко, и Петербург взять немцам, даже если удастся сделать десант, невозможно. Командир армейского корпуса, защищавший Петербург во время турецкой войны, вместе со своим начальником штаба, молодым генералом генерального штаба, прекрасно обдумали маневр и решили запереть все лесные дефиле, не дать возможности развернуться гвардии, поставить ее под удары батарей и тем самым доказать высоким германским гостям, присутствовавшим на маневре, что русские начальники тонко понимают военное искусство — и Петербурга не взять. Двумя утомительными ночными маршами армейский корпус Северного отряда достиг Колосовских высот и должен был приступить на рассвете, чтобы окончательно припереть все подступы к Петербургу. Кавалерия была направлена в обход на шестьдесят верст и, действуя спешенными частями, должна была отрезать противнику коммуникационные пути с его флотом, предполагавшимся в заливе.

Смысл маневра путем осмысленных приказов и посылки офицеров генерального штаба в полки был сделан известен всем офицерам и солдатам, и, забывая утомление, каждый старался исполнить до мелочей приказ.

Подходило время решительного столкновения. В десятом часу ночи в маленьком, одиноко стоящем среди громадных лесов домике лесника были собраны полковые адъютанты от всех полков Северного отряда, и штаб-офицер штаба корпуса диктовал им приказ о бое.

В соседней комнате командир корпуса, плотный, шестидесятилетний старик, устало пил чай из стакана, поставленного на большую, разложенную на столе карту окрестностей Петербурга, а его начальник штаба, потирая руки, просматривал дополнительную записку о бое, только что им составленную для рассылки по полкам, с объяснением того, что было бы, если бы бой был настоящим.

Темная тихая ночь стояла за окном. Дождь, ливший все эти дни, перестал. Небо яснело, и на нем проступали звезды.

На шоссе раздались со стороны противника заливистые звонки двух троек. Они быстро приближались. Стали слышны топот копыт и шуршание резины. Тройки остановились у домика, и кто-то хриплым старческим голосом спросил:

— Здесь штаб Северного отряда?

В комнату командира корпуса вошел высокий статный старик с седою бородою в свитской фуражке и оленьей дохе и с ним такой же высокий, щеголеватый генерал генерального штаба в длинном черном сюртуке с аксельбантами, подтянутом серебряным шарфом. Сзади них шел жандармский унтер-офицер в светло-голубом мундире с желтыми аксельбантами. Он помог старику снять доху и удалился из комнаты. Приехавший был старший посредник и член Государственного совета, генерал-адъютант.

— В какую глушь вы забрались, ваше превосходительство, — проговорил он, протягивая большую руку в белой перчатке начальнику Северного отряда. — Мы насилу вас отыскали. Можно будет стаканчик чая?.. Ну, как назавтра?

Начальник штаба взял тщательно переписанный приказ и начал его читать. Начальник Северного отряда показывал посреднику на плане. Генерал-адъютант не дал дочитать приказа до конца.

— Позвольте, ваше превосходительство. Вы этот приказ уже разослали в полки?

— Диктуем адъютантам... Сейчас посылаем.

— Остановите диктовку. Надо совсем другой приказ составить.

— Но, ваше превосходительство, —

* Черт возьми!.. Понятно... (нем.)

проговорил, вставая, начальник Северного отряда.

— Никаких возражений. Чего вы хотите? Запереть все дефилеи, устроить огневой бой, не дать гвардии дебушировать из леса и развернуться?.. Вы угоняете дивизию кавалерии Бог знает куда, за тридцать верст по невозможным дорогам.

— Ваше высокопревосходительство, ведь этим мы обороняем Петербург, — вставил начальник штаба.

— Ах, оставьте эти академические хитрости для военной игры в Округе. Вы забываете, что маневры в Высочайшем присутствии. Высочайший поезд будет подан к девяти часам утра к станции Волосковицы. Государь Император с Августейшим гостем проследует верхом к мызе Колосово, откуда с холма будет наблюдать с балкона. Гофмаршальской части заказан завтрак на мызном поле на шестьсот персон. На этом поле будет производство юнкеров. Вы понимаете все это?

— Чего же вы от меня хотите? — спросил начальник отряда.

— Маневра. Красивых атак конницы и пехоты на Колосовском поле, которое как будто бы нарочно создано для маневра.

— Ваше высокопревосходительство, пощадите, ведь маневр потеряет всякую поучительность. Для чего же мы гнали людей по этой мокроте? 37-я дивизия сделала сорокапятиверстный переход по непролазной грязи и занимает уже отличную позицию. Как я подам ее к Колосову?

— Вы подадите ее, ваше превосходительство, — упрямо сказал старик. — Надо, чтобы люди видели своего обожаемого Монарха. Надо, чтобы Государь видел свою бесподобную армию. Не забывайте главного — воспитательного значения маневра! Отдайте приказ всем остановиться на своих местах, почиститься, надеть чистые рубахи и завтра занять места так, чтобы гвардия могла спокойно дебушировать из леса и развернуться для сквозной атаки на поле. Сосредоточьте кавалерию за лесом и киньте ее часу в десятом в атаку.

— Какой же это будет маневр? Это парад!

— Маневр в Высочайшем присутствии, — внушительно сказал генерал-адъютант. — Вы сами служили в гвардии и должны это понимать. Извольте слушаться. Я вам приказываю. И, поверьте, — многозначительно добавил он, — худого вам от этого не будет.

Командир корпуса тяжело вздохнул. Он понимал, что генерал-адъютант прав, маневры в присутствии Государя нельзя делать так, чтобы Государь ничего не видал.

— Пишите, — сказал он начальнику штаба и начал диктовать новый приказ-диспозицию.

На рассвете адъютанты разыскали свои части на походе. Полки были остановлены. Кавалерия повернула и на рысях пошла обратно. Подходя к Колосову, полки свернулись в колонны и стали чиститься и замывать в реке всю грязь трехдневного похода. Всем стало ясно: сегодня они увидят Государя.

Никто не возмущался, никто не удивлялся, потому что каждый понимал, что нельзя Государю показаться как попало.

Все радовались увидеть Государя, все радовались, что наступил конец маневров и приблизилось время увольнения в запас, по домам.

Утро маневра было ясное. Солнце ярко блистало с бледно-голубого осеннего неба. Паутинки высоко поднимались и плыли по неподвижному воздуху. Дождевые капли сверкали бриллиантами на листьях кустов и на мелкой, поднявшейся после укоса траве.

Полк Саблина устанавливался в ольшаннике, где солдаты находили красные грибы. Вся дивизия заблаговременно выстроила боевой порядок для атаки на пехоту. Там, где был противник, часто и мерно бухали пушки и белый дым густыми клубами тихо поднимался у леса. Трескотня ружей становилась сильнее и ожесточеннее. Было видно, как длинные цепи белых рубах быстро перебегали по полю и ложились между скирдами хлеба. Начальник дивизии со штабом открыто стоял на поле. Он волновался. Он боялся пропустить время атаки. Волновала его и скачка по полю, где могли быть канавы, скачка, вредная для его тяжелого тела и больного сердца. Спешенные люди кто затирал ноги коню, кто, опершись на седло, стоял и смотрел задумчиво на лес, где все чаще и чаще били пушки.

— Небось, на войне так не постоял бы! — сказал Любовин, обращаясь к своему соседу Адамайтису.

— А чего? — спросил тот.

— Чего, — передразнил Любовин, — да вишь, как стреляет.

— Ну, и пущай стреляет, — спокойно возразил Адамайтис.

— Так ведь на войне-то, поди, и людей бьет!

— Ну-к, что ж, — еще спокойнее сказал Адамайтис. — Про то начальству известно. На войне не без урона.

Такая философия привела Любовина в полное отчаяние, и он замолчал.

Начальнику дивизии показалось, что уже можно атаковать. Веером во все стороны поскакали от него ординарцы. Полки сели на лошадей.

Еще прошло несколько минут, и из леса выскочили полевым галопом рассыпанные цепью полуэскадроны, сзади скакали сомкнутые полуэскадроны поддержек. Скачка по чистому полю, по сжатым хлебам увлекла солдат. Испуганный заяц выскочил из-под копны, стал метаться вправо и влево, попадая под лошадей, и ближе подвигалась вставшая с ружьями у ног пехота. И когда прошли ее и остановились, хотели слезть. Но сзади раздались сигналы — «Назад». Прискакали ординарцы и сказали, что надо отойти на прежнее место и атаковать снова. Атака была великолепна, бле-

стяща, эффектна, но... ее не видал Государь. Приказано повторить ее, когда Его Величество приедет на мызу. Теперь все смотрели не на пехоту, снова залегшую цепями по полю, а на холм, где стояла двухэтажная белая дача.

Оттуда раздался ответ небольшой части. Государь поздоровался с охотниками Егерского полка, забравшимися на дачу. Пестрая свита устанавливалась на холме. И опять помчалась в атаку кавалерия. Но уже прежнего увлечения не было. Лошади вяло скакали по натоптанным тропинкам.

Маневры, разведки, поход, биваки — все было забыто. Все мысли были сосредоточены на одной волнующей мысли: «Государь здесь. Сейчас увидим Государя!»

Армейская пехота, маленькие, загорелые до черноты люди, усталые, измученные походом, не спавшие всю ночь, бегали под гору и отмывали в речке сапоги и лица. Они обчищали друг друга и, забыв про бой, про маневр, толкаясь мешками, проворно выстраивались в колонны. На всех лицах Саблин, стоявший напротив, видел восторг ожидания великого счастья. Он сам был проникнут этим восторгом и так понимал его и ощущал его всею душою!.

Тонкий резкий сигнал отбоя прозвучал у мызы, и трубачи и горнисты по всем углам широкой поляны, у лесов, в лесу и за лесом, повторили его красивой звенящей фразой кавалерийского сигнала или двумя тяжелыми нотами сиплых пехотных горнов. Стрельба затихла. Волны белого порохового дыма, как туман, стлались по земле над сжатыми нивами, где выстраивались теперь полки. Пехотные музыканты, сверкая начищенными трубами, бегом стремились к своим полкам.

Знакомое волнение поднялось в Саблине. Те счастливые, вдохновенные, радостные, себя забывающие хорошие мысли, что владели им на параде, в ожидании Государя, снова зашевелились в голове, и открылось, и стало ясным многое, казавшееся непонятным и смущавшее его. Что главное? Маневры, скачка, решение какой-то тактической задачи или этот восторг, заставляющий забыть усталость, удесятеряющий силы людей, дарующий радость и воспоминание на всю жизнь? Что важнее — разбор посредника, его слова: «Вы победили», «Вам отходить».. или это радостное, возбужденное бормотание в рядах строящейся пехоты и этот блеск в глазах на простых солдатских лицах?

Опять волшебная, солнечная сказка о Русском Царе, Божием помазаннике! Опять великолепие свиты среди озаренной солнцем осенней природы, у золотых берез и малиновых кленов, под изумрудом елок дачного сада. Опять сладостный, незабываемый миг, светлое пятно на всю темную жизнь русского крестьянства!

Государь медленно спускался с холма на поле. Рядом с ним, на большой светло-рыжей лошади ехал его гость. Государь в преображенском сюртуке, подпоясанном серебряным шарфом, на гнедой лошади ехал шагом по полю. Вспыхнул первый, воодушевленный ответ с громким, протяжным «...ство-о!» и за ним «Ура!..» и гимн. Слезы заволокли глаза Саблина туманом. В реве людских голосов, в могучем, за душу хватающем гимне, он видел всю Россию, с ее степями и лесами, с горами, покрытыми белыми ледниками, с голубыми озерками, с маленькими, темными деревушками, с зелеными церковками, с простой, трогательной верой и с ее великим Царем. И что любил он, чем восхищался, перед чем благоговел он, не знал. Перед Родиной ли своей, или перед ее олицетворением — Царем? Если бы ему в эту минуту сказали, что Царь — человек, со всеми его слабостями, что он пьет водку, курит толстые папиросы, что он просто молодой, двадцатипятилетний полковник — он не поверил бы. Все снова было подернуто туманом удаленности от людей, озарено солнечными лучами, льющимися на него, и он являлся отмеченный Богом, как Его помазанник.

Саблин стоял впереди. Полк был построен развернутым фронтом, и Саблин почувствовал на себе проницательный, ласковый взор Государя и замер от счастья. Саблин знал, что и люди чувствовали так же, как он. Он это понял по дружному, сосредоточенному ответу и за душу хватающему крику «Ура!» Опять повторилось то же, что было на параде, счастье снизошло на него от царственного Всадника.

Государь был далеко. Он объезжал полки резерва, не поспевшего вовремя к атаке.

Плавные звуки торжественного Русского гимна перебивались треском барабанов и ухарскими песнями и певучими маршами уходящей с поля пехоты. Войска, отпущенные Государем, расходились по бивакам. Скоро мимо них понеслись тройки, коляски, извозчики: начальство покидало свои части и спешило на железную дорогу, кто торопился в только что разрешенный отпуск за границу или в деревню, кто просто ехал на дачу к семье, кто, еще проще, спешил в баню, помыться после утомления и грязных ночлегов на маневрах. Полки шли по домам под начальством молодых офицеров, и более того, фельдфебелей и вахмистров. Господам отдых был нужнее, чем солдатам. Так было всегда — и солдаты не обращали на это внимания.

Продолжение следует

Григорий Василенко

СЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ*

2. ЕСАУЛ И ГЕНЕРАЛ

— В гражданскую, в пожарах и в боях Андрей Шкуро не особенно-то замечал и жаловал меня, есаула-стихотворца, как он отзывался обо мне,— сказал Иван Алексеевич.— Стишки я пописывал, признаться, даже прославлял шкуринских «волков». До него это доходило. Но и я при каждом удобном случае не спускал с него глаз. Как-никак, выбился в смутное время в люди. Я даже собирался про него книжку написать, делал наброски, но потом мой интерес к нему пропал.

— Почему?

— Ну, как вам сказать, я бы наверняка не бросил свою задумку, если бы верх взяли белые. Все было бы оправданно. Но когда увидел обреченность белого движения и несбыточные мечты его вождей, до смешного наивные планы — поднять восстание кучки казаков против Советов, всей России, после того, как жалкие остатки белых армий бежали за границу, надо было покопаться в причинах поражения, а не проливать слезы задним числом, оправдывать неудачи белых генералов в сражениях, стоивших миллионы жизней. Мне не хотелось занимать позу прозревшего стратега. Разорвал все свои записки. И нисколько не жалею об этом. Потому что «трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о мало интересных предметах либо представляющих слишком большой интерес»,— как-то заметил Стендаль, говоря о Наполеоне. Но Шкуро же не Наполеон, а предводитель разбойников с большой дороги, принесших много бед своим землякам, ставившим и крестики вместо фамилий, а потому и мало разумевших в политике. В гражданской войне большее значение имели идеи, чем оружие. Правда, на удивление всему миру гражданская война была жесточайшей.

— И все же мне хотелось услышать ваше мнение о Шкуро.

— Мне все это напоминает теперь набеги Дон Кихота с копьем на раскрученную ураганом мельницу, чтобы проткнуть ее скрипучие крылья, но это ничего не давало при такой могучей поддержке народом большевиков. Я сам это видел, стоя в стременах, только не с копьем, а с шашкой.

— Дон Кихот Ламанчский был рыцарем, а...

— А Андрей Шкуро — казаком. Так вот, — как обычно начал Иван Алексеевич,— генерал Шкуро Андрей Григорьевич происходил из казачьей офицерской семьи станицы Пашковской под Екатеринодаром. Настоящая его фамилия чисто казачья — Шкура. По окончании, с весьма слабыми успехами, реального училища, он поступил в одно из военных, чуть ли не Николаевское кавалерийское училище, каковое окончил, после чего получил назначение в один из кубанских полков, с которым и отправился на Турецкий фронт первой мировой войны.

Там сразу проявил себя как смелый разведчик в тылу у неприятеля. Вскоре получил отдельную сотню, сформированную из отчаянных кубанских казаков, которая выполняла какое угодно задание по разведке, любой ценой, в тылу у неприятеля. Эта сотня Шкуро уничтожала мосты, железнодорожные пути, подрывала склады боеприпасов, уничтожала конское поголовье, перебрасывалась с одного участка фронта на другой. Вместе с ней начинает греметь и имя Шкуро, который быстро производится из одного чина в другой. Командование Кавказского (Турецкого) фронта нашло полезным перебросить Шкуро с его сотней на Западный фронт. Ему поручают отдельный отряд, которому передаются пушки и пулеметы, с ним он уходил за пятьдесят—сто верст в тыл противника, дерзко налетал на неприятельские штабы, уничтожал телефонную и телеграфную связь, склады с запасами продовольствия и обмундирования. Во время своих налетов Шкуро взял в плен не одну тысячу австрийских солдат и офицеров.

За все эти подвиги Шкуро, прибывший на фронт в чине хорунжего, к моменту революции получил чин полковника, георгиевское оружие и был представлен к высшей офицерской награде — Георгиевскому кресту, имея все остальные офицерские ордена: «Анну», «Станислава», «Владимира» с мечами и бантом.

После Февральской революции Шкуро решает, что на фронте ему делать нечего, бросает его «партизанским путем», то есть не сказав никому ни слова, попросту убегает, прихватив награбленное на войне золото и ценности. Нагружен

* Продолжение. Начало в № 3

ный багажом, он приезжает в Кисловодск, где и поселяется в «Гранд-отеле». Здесь застает его Октябрьская революция. Он был одним из тех офицеров, которые категорически отказывались подчиниться приказу кисловодского Совдепа — снять погоны. В это же время стали распространяться слухи, что Шкуро организует какой-то штаб, с которым думает создать из казаков ближайших станиц Боргустанской, Бекешевской и Суворовской отряд и выступить против Советов.

В январе 1918 года его вместе с другими контрреволюционно настроенными офицерами арестовывает Кисловодский Совет. Этому сообщению вначале никто не поверил. — Шкуро арестовали? Быть этого не может, — утверждали обыватели. В дело вмешался лидер пятигорских левых эсеров Родзевич, который в то время занялся формированием «добровольческих» отрядов под командованием опытных офицеров, для борьбы с немцами, подходившими к Ростову.

Родзевич возлагал большие надежды на полковника Шкуро, ручался за него «головой» перед революционным Пятигорском и Владикавказом, пошел против Анджиевского, председателя Совдепа, и добился его освобождения под предлогом необходимости отпора немцам. Оказавшись на свободе, под этой маркой и развернул свою контрреволюционную работу Шкуро на Тереке. Его хотели вновь арестовать, но он ночью вместе со своим штабом бежал из кисловодского «Гранд-отеля» в Войсковой лес, где остановился на так называемой Волчьей поляне. Это было... примерно в марте-апреле 1918 года. Офицерство потянулось к Шкуро на Волчью поляну, где зарождалось гнездо контрреволюции. Туда же пробиралось и обозленное на Советы рядовое казачество. Причин для недовольства в ту пору было много. Особенно приказы о реквизициях и конфискациях в станицах фуража, скота и хлеба для Красной гвардии. Бывали случаи, когда за продовольствием в Боргустан приезжали сразу от Кисловодского, Ессентукского и Пятигорского Совдепов, что очень обозляло станичан. Все это было на руку замыслам Шкуро. Он призывал их к борьбе с большевиками «за хозяина земли русской — Учредительное собрание».

В первых числах мая 1918 года был созван Пятигорский окружной Съезд, который избрал окружной Совет, а последний — Пятигорский окружной исполнительный комитет. Окружной совет возглавил Родзевич, а Пятигорский Совдеп — Анджиевский.

В это время Шкуро покинул Волчью поляну, поднял восстание против Советской власти в Боргустанской и Бекешевской и налетел на Кисловодск. Обещая отомстить большевикам за реквизиции казачьего добра, Шкуро поднял на это дело около тысячи человек. Взорвав на реке Прикумке железнодорожный мост, овладев отрезанным таким образом Кисловодском, Шкуро отдал город на разграбление казакам. Кисловодский Совдеп был разграблен вчистую, попадавшиеся в руки шкуринцев партийцы расстреливались на месте, женщины подвергались изнасилованию. Зверства отрядов Шкуро не поддавались описанию. После погромов в Кисловодске Шкуро оставил город, отступив сперва на аул Абуковский, а ночью — на станицу Боргустанскую. Наутро Шкуро объявил Ставропольский рейд, вступив в бой с красными, намереваясь соединиться с частями генерала Корнилова, который к тому времени продвигался к Екатеринодару.

Из-за малочисленности красных частей и неопытности их командования Шкуро удалось пробиться к Корнилову.

В это время в Пятигорске появился один из советских главкомов, кажется, тоже кубанец, Автономов, воевавший с немцами под Ростовом. В Пятигорск он прибыл для формирования красной казачьей кавалерии. Узнав о восстании Шкуро, Автономов решил взять его в плен со всем штабом, но этому кто-то дипломатично помешал. Автономова вскоре отозвали в Москву, а Шкуро же, почти без сопротивления, прошел по ставропольским селам и станицам и стал лагерем под Ставрополем. С помощью частей Деникина Шкуро ворвался в Ставрополь и с присущей ему и его «волкам» жестокостью грабил город и казнил попавших ему в плен коммунистов, активистов...

В августе 1918 года, после установления связи с частями Деникина, он отрывается от него и со своей бригадой появляется в Баталпашинске, создает Баталпашинско-Пятигорский фронт. Против этого отрыва и появления нового фронта категорически возражал штаб Деникина, отказывался давать подкрепление Шкуро, взявшему было Боргустан, Кисловодск и Ессентуки, но вынужденному под ударами красных откатиться вновь и пойти на связь с деникинцами.

При вторичном налете Шкуро на Кисловодск, когда последний удерживался им около десяти дней, была установлена связь с моздокским «казачье-крестьянским правительством Терского края» — Бичерахоным, от которого Шкуро получил пушки, снаряды и патроны, а главное, полковника Гажеева, который должен был возглавить командование сформированными терскими частями.

Тогда же из Кисловодска была увезена императрица Мария Федоровна, которой по распоряжению Шкуро воздавались императорские почести. Из Кисловодска со Шкуро ушло и много дотоле укрывавшихся там сановных вельмож, князей, графов, баронов, финансистов и их семей.

Жалобы всей этой публики Деникину, который находился в Екатеринодаре, на Шкуро за его налеты на Кисловодск и кровопускания без особого повода настолько возымели действие, что командование Баталпашинско-Пятигорским фронтом было поручено генералу Султан-Келеч-Гирею, а Шкуро отозван в Екатеринодар для дачи личных объяснений. И лишь несговорчивая, в то время уже бурлившая, Кубанская Рада спасла Шкуро от предания его суду и она же произвела... его в генералы.

Он появляется опять на Тереке и руководит там операциями, но будучи уже начальником Кубанской отдельной дивизии.

Тем временем добровольческие части берут Ростов, выходят через Донскую область на московскую дорогу — и напрямик... к кремлевским колоколам с малиновым звоном.

На Донщину перебрасывается и дивизия Шкуро. Следуют его операции по овладению Воронежем, который Шкуро брал, будучи уже генерал-лейтенантом и командиром корпуса. Подойдя к Воронежу, Шкуро вызвал в штаб корпуса своих подчиненных и держал перед ними речь. Я сам ее слышал.

— Господа офицеры, перед вами Воронеж, наполненный огромными складами, снаряжением и обмундированием, продуктами, водкой и спиртом. В Воронеже миллионы пар галош на складах, магазины полны мануфактурой. Там у местных жидов можно найти пуды золота и на миллионы рублей драгоценностей. Этого достаточно, чтобы мы проявили небывалую храбрость и отвагу казачью и взяли Воронеж у красной сволочи. Я же со своей стороны как начальник ваш, как и раньше, опять категорически заявляю: возьмете Воронеж — и он, как и ранее другие уже нами взятые города, будет в полном вашем распоряжении в течение трех суток.

После этой речи собравшиеся разъезжались по своим частям и делали ее достоянием казаков. Затем отдавался приказ о штурме города. Началась вакханалия грабежей и убийств. В городе слышалась беспорядочная стрельба, душераздирающие крики детей и насилуемых женщин, особенно еврейского происхождения. Творился какой-то кровавый кошмар. Особым зверствам подвергались попавшие в руки шкуринской контрразведки и его «волчьего дивизиона» красные командиры, комиссары, их жены, дети, красноармейцы.

А «победитель» Шкуро проводил время в театре, слушал оперу и кутил с воронежскими аристократами и балеринами...

Взятием Воронежа заканчивается восхождение звезды Шкуро. Далее следует закат, а вместе с ним и крушение надежд тех, кто мечтал о захвате Москвы и кремлевских колоколов с малиновым перезвоном. Одним из виновников крушения этих надежд был «вахмистр» (как его звали в штабах белых) Буденный и его конница.

Вот почему, когда шкуринцы у села Хреновое (в 20 верстах восточнее Воронежа) встретились с кубанцами и терцами, но только красными — буденновцами, то в первом же бою потерпели поражение, от которого больше им не суждено было оправиться вплоть до Новороссийска. Сам Шкуро понял это, притворился больным и уехал срочно с фронта домой — на Кубань. Следом за ним стремительно покатилась на юг и его «стая волков», остановилась только в Константинополе.

Шкуро, появившись в Екатеринодаре, занялся, по поручению Кубанского войскового правительства, формированием Кубанского корпуса, а заодно реализовывал все награбленное, что хранилось в его собственном поезде, подготавливаясь к путешествию за границу. Слухи об этом дошли до Деникина. Главком не прочь был арестовать Шкуро и, может быть, даже расстрелять, но он ограничился формальным отстранением его от должности комкора. Это обстоятельство Шкуро использовал против Деникина, перешел на сторону Кубанской Рады, которая к тому моменту была близка к разрыву с Деникиным из-за расправы с членом Рады А. Кулабуховым, лидером «черноморцев», и убийства председателя Рады «самостийника» Н. Рябовола, о чем я уже вам рассказывал.

Когда красные подошли к Ростову, а заседавший в Краснодаре Верховный круг Дона, Кубани и Терека порвал с Деникиным и, в большей своей части, направился в Грузию, Шкуро, опередив всех, стал первым гостем грузинского меньшевистского правительства. Там он развернул торговлю золотом, скупая английские фунты и доллары.

— Иван Алексеевич, мне показалось странным: как это так, Шкуро — и вдруг стал нетерпим в ставке Деникина. Ему даже грозил расстрел. Может, с точки зрения его казачьих политических ориентаций, он не устраивал «добровольцев»?

— Ничуть не бывало. Шкуро, сын казачьего кадрового офицера, мелкого помещика, по убеждению являлся самым закоренелым монархистом. Уже в Кисловодске он не скрывал своих убеждений и не просто добивался, а прямо-таки ломился в дверь к представителям династии Романовых. Он бывал запросто у великих князей, застрявших на какое-то время в Кисловодске, поддерживал тесные отношения с такими зубрами, как генерал Рузский и Радко-Дмитриев. Наконец, он вывез из Кисловодска мать

Николая II, бывшую императрицу Марию Федоровну. Но «добровольцы» его невзлюбили. В 1918 году (еще до погромов в Кисловодске) существовала монархическая организация, среди которой были уполномоченные генерала Корнилова, готовившие восстание против Совласти на Тереке, но только не в Кисловодске, так как в таком случае грозила гибель выжидавшей в Кисловодске царской аристократии, вплоть до императрицы. Было решено: либо не делать восстания на Тереке вплоть до прихода Корнилова, либо делать его в другой части Терека, чтобы не привлекать внимания красных к Кисловодску. С этой целью генерал Левшин переехал в Моздок, к осетинскому офицерству и казачьему генералитету, где и сошлись поднять восстание против Совласти в другом месте. Шкуро знал об этом, но не подчинился такому решению и поднял восстание в районе Кисловодска. Бросил город на разграбление, а сам отправился в Ставропольский рейд. За все это «доброволье» Корнилова-Деникина не жаловало Шкуро.

Он неоднократно и после соединения с Деникиным проявлял неповиновение главкому, что иногда приводило к катастрофическим последствиям на участках фронта, которые ему поручались. Все это наматывалось в клубок ненависти к Шкуро в ставке Деникина.

— Что же мешало Деникину окончательно разделаться со Шкуро?

— Популярность Шкуро среди казачества,— сразу ответил Иван Алексеевич.— Шкуро умело пользовался доверием казаков, прослыл легендарной личностью со своим «волчьим дивизионом» — его личной гвардией. Это удерживало Деникина от разрыва со Шкуро, но главное — цель-то у них была общая — уничтожить большевиков. Но заметьте, Антон Иванович в своих воспоминаниях ни словом так и не обмолвился о «волке», как будто его и не было.

Первое время после эвакуации из Крыма Шкуро пребывал в Константинополе, потом перекочевал в Париж, где жил на широкую ногу. О нем заговорили в заграничной печати как о «короле бриллиантов». Это относится к лету 1921 года, когда он со своими приближенными «дал о себе знать» в ресторанах, барах и кафе Парижа. Его сопровождал бывший лейтенант флота, бравый адъютант Павлов. А казачья молва на Кубани и Тереке и среди эмигрантов разносила миф о десантах под командой Шкуро на Северном Кавказе и операциях по борьбе с Советами, что продолжалось вплоть до 1925 года, когда пролетевший в трубу Шкуро решил организовать в Париже казачьих джигитов, с которыми и поехал джигитовать по Европе и Америке.

.О заграничных вояжах Шкуро можно сочинить плутовской роман.

Он следил за отношениями стран Антанты, а также Германии и Польши к СССР, в особенности к Украине, и мараковал, как бы насолить большевикам. Однажды в эмигрантских газетах промелькнуло сообщение: «Шкуро предложил свои услуги Савинкову, но тот отказался от них». Авантюрист высшего класса не захотел воспользоваться услугами своего собрата. Тогда он примкнул к группировке Рябушинского, не порывая связь с Кубанским атаманом генералом Науменко и его свитой.

Ознакомившись с настроениями украинцев, осевших в Париже и Лондоне, он направился в Берлин с целью посмотреть на месте взаимоотношения различных украинских группировок.

В Лондоне Шкуро вошел в непосредственный контакт с антисоветскими деятелями и вынес убеждение, что Англия делала все возможное, чтобы нанести удар по СССР в традиционном для англичан духе: расчленить Россию и отделить Украину от России руками поляков.

Шкуро как кубанец был крайне заинтересован в этом, ибо если бы оккупация Украины осуществилась, то, несомненно, ее последствия должны были сказаться на Кубани, где у Шкуро имелись его сторонники, не считая казаков за границей, многие из которых по первому его призыву пошли бы за ним.

По этим соображениям Шкуро стремился в Варшаву, дабы там войти в непосредственные сношения с Пилсудским. Одновременно он принимал немалые усилия для поддержания контактов в Берлине со Скоропадским.

Неожиданно в Париже появился конкурент Шкуро, известный Булак-Булахович, обратившийся к французскому правительству с предложением организовать отряд в несколько десятков тысяч человек, с которым он намеревался вторгнуться в Белоруссию и поднять вооруженное восстание против Советской власти. По словам Булак-Булаховича, люди для этого предприятия у него имелись, а в самой Белоруссии все уже готово для начала восстания, достаточно только появления его со своим отрядом. Но как у Шкуро, так и у Булак-Булаховича не было ни гроша в кармане.

Французы выслушали Булак-Булаховича, никакого ответа ему не дали, предложили обратиться с этим предложением к полякам. Хотя Булак-Булахович и перехватывал инициативу, но Шкуро не выступал против него открыто, а изображал его как своего союзника в борьбе с большевиками. Сам же давал понять, что отправится в Турцию, чтобы оттуда пробраться на Кавказ и организовать там поджог нефтяных источников и поднять восстание кубанских казаков, согласовав его с восстанием горцев на Кавказе. В рекламных целях Шкуро производил и объезд казаков, выясняя их настроения и готовность пойти за ним на войну против Советской России.

В результате этих объездов он вынужден был признаться, что казачество утратило свой воинский дух, в силу чего охотников снова взяться за оружие и вступить в мерещившуюся ему Белую армию оказалось очень мало.

Для прекращения демобилизационных настроений и восстановления боеспособности Шкуро развивал план восстановления воинской повинности для молодежи, выросшей за рубежом и нигде не служившей, дабы подготовить эту молодежь, насчитывающую 40 тысяч человек, для вооруженной борьбы. Вынашивал идеи создания во всех пунктах скопления казачьей эмиграции курсов для подготовки офицеров, возвращения казаков «к полковому образу жизни».

Эти идеи, как мне говорили, Шкуро развивал в своей книге «Что же должны мы делать?». Я ее не видел, не читал, но слышал, что писал эту книгу генерал Шинкаренко.

Наконец, Шкуро заключил соглашение с Польшей, по которому он принял на себя обязательства сформировать в Польше пять кавалерийских отрядов численностью по 10 сабель каждый для переброски их в Россию.

Шкуро пытался склонить на свою сторону проживавшего в Марселе генерала Улагая, но последний, имея горький опыт участия в сомнительных предприятиях, не принял предложения.

Верхи известного РОВСа* тоже не приняли Шкуро, называя его не иначе как «генералом от бандитизма».

Тогда он отправился на съезд лидеров горцев Северного Кавказа, украинцев ориентации профессора Левицкого и казаков-кубанцев, придерживающихся бывшего председателя Кубанского правительства Иваниса.

На этом съезде в Польше присутствовали также Ной Жордания, Шамиль, Бичерахов, Еликоев, Сулейман, Левицкий и другие. Левицкий сообщил о том, что маршал Пилсудский готов поддерживать сепаратистское движение как на Украине, так и на Кавказе и в казачьих областях, но что для успеха требуется составить общий план действий, общую смету и проводить в жизнь выработанные положения. Между прочим, было указано, что главной базой для организации и формирования военной силы с целью вторжения на территорию России является Галиция, которая по договору, заключенному между профессором Левицким и Польшей, в случае объявления независимости Украины переходила в состав единой Соборной Украины.

Из подсчетов польского генштаба вытекало, что на территории Галиции одних местных добровольцев можно набрать 200—250 тысяч отборного войска, да плюс эмигранты-украинцы дадут около 10 тысяч, казаки —50 и кавказцы 30—40 тысяч. Итого, около 400 тысяч обученного войска может выступить из Галиции в нужный момент. Все расходы на вооружение, снаряжение и организацию принимала на себя Польша.

В военно-учебных заведениях и в армии для украинцев предоставилось 300 вакансий, горцам — 150, казакам — 50. На подготовку подобного особого отряда отводилось не менее двух лет.

В мобилизационную комиссию были включены генералы Бичерахов и Шкуро.

Потом некоторые из участников съезда были приняты начальником генштаба и военным министром Польши. Из бесед с ними выяснилось, что поляки считают столкновение с Советами неизбежным. Чтобы ослабить удар Красной армии, сепаратисты должны подготовить восстание местного населения в своих областях, для чего должна быть усилена пропагандистская работа.

Мне тоже пришлось участвовать в заседаниях этого съезда в качестве консультанта Иваниса. Со Шкуро мы были на равных, я мог с ним толковать, как мне заблагорассудится.

Вскоре он мне даже прислал письмо из Парижа.

«Дорогой Иван Алексеевич!

Получил твое письмо от 1 августа только 5 августа из Праги. Содержание его меня удивило и поразило.

Мне показалась странной твоя наивность. Вообще, давай условимся: ценное посылай непосредственно на мое имя и фамилию, отправителем ставь М-м Ш. Адрес ее ты знаешь. Посредников же лучше не надо. Так будет и для тебя, и для меня много удобнее.

Я ни одной минуты не сомневался, что все, что я тебе сообщил, представляет большой интерес, но, к сожалению, затягивается во времени. Постараюсь все задуманное исполнить.

Сейчас же я хочу тебе написать по поводу моих дальнейших планов. Я тебе рассказывал о той группе, которую я и мои друзья создают там, по соседству у тебя. Теперь же окончательно выяснилось, что эта группа готова поддержать мою организацию и меня материально, но при условии, если я сумею создать аналогичную группу в Англии и Франции. Заранее зная, что подобная задача будет мне поставлена, я в течение всего этого времени успел побывать в Лондоне два раза, сделал ряд докладов и получил уверенность, что и там подобная же группа будет сконструирована, но при условии вхождения в непосредственный контакт с моими друзьями в Берлине. То же самое я проделал и в Париже. К сожалению, наступивший период не позво-

* РОВС — «Русский общевоинский союз».

лил мне здесь закончить работу, но меня также заверили, что идея моя встретила большое сочувствие и что группа будет организована, но их представители обязательно хотят поговорить и встретиться и с англичанами, и с немцами. Из Берлина я получил сведения, что встрече будут очень рады и ей придают большое значение. Такие крупные тузы заинтересовались, что когда я их тебе назову, то ты обалдеешь и скажешь, что я брешу. Но на самом деле это все правда. Писать их имена, считаю, нельзя.

В Англии я говорил с лицами, имеющими большой вес во всех сферах, но совершенно неожиданно мне пришлось переменить первоначальную схему и под давлением, вернее, определенными советами моих английских интересантов стать на позицию «самостийника». Только при этом условии они готовы оказать финансовую поддержку всему нашему делу. Все то, что сейчас происходит в Польше, диктуется, безусловно, из Лондона. Здесь, в Париже, к этому вопросу отнеслись несколько иначе. Во всяком случае, в основу дела кладут прежде всего борьбу с коммунизмом вообще. Что касается моих берлинских друзей, то и там моя перемена фронта встретила большое сочувствие и наших взаимоотношений не нарушала. Я не сомневаюсь, что как и в Лондоне, так и в Париже лица, говорившие со мной, из моих планов не делали секрета от своих правительств и, по-видимому, получили неофициальное согласие. По крайней мере, у меня такое впечатление создалось вполне определенно. Что касается Берлина, то твердо еще не знаю, но полагаю, что когда дело дойдет до самой встречи и непосредственным переговорам, то, безусловно, тамошние власти согласятся.

Дело наше принимает характер международный. Конечно, будет скрыто от широкой публики, но кому нужно знать об этом — знать будут. Вот, дорогой мой, видишь, что я фантазией не занимался, и мои мысли приходят ближе к цели и вполне соответствуют настоящему международному положению, в чем ты сомневался, хотя, возможно, ты и теперь смотришь иначе. Так вот, обозначены только вехи. Дальнейшая же работа потребует немало времени и усилий, но так или иначе, к основному вопросу мы подходим уже вплотную.

Предположено, что организуется международный центр, куда войдут представители от всех трех групп, и от них я и буду получать соответствующие директивы для направления дальнейшей работы на местах, так и здесь, среди моих хлопцев, и как только появятся первые деньги, ты увидишь, как мы заработали. Я твердо уверен, что ожидалось через 2—3 года, будет гораздо раньше, так как мы при наличии такой крупной финансовой поддержки все ускорим безусловно. От тебя я хочу следующего: во-первых, сообщи, известно ли тебе о моих шагах здесь и в Лондоне, и как твои друзья к этому относятся? Не иду ли я вразрез с их настроениями и правильна ли моя позиция в вопросе самостийничества и содружества и общей работы как с украинцами, так и с кавказцами и казаками — Иваниса и Быкадарова?

Вообще, я бы тебя очень просил сообщить мне точку зрения и твоих друзей на всю эту комбинацию, и потом осветить мне общую обстановку и желательно линию поведения как мою, в частности, так и вообще общего направления всего дела. Имей в виду, что еще точки не поставлены, предстоит еще много разговоров. Ты знаешь, как я ценю твое слово в таких делах, и я буду очень рад, если ты будешь помогать, хотя бы изредка, правильно разбираться во всех комбинациях. Случайно мне удалось связаться с наиболее крупными лицами в трех столицах, и, сам понимаешь, нужно все сделать и серьезно, и достойно этого дела, за которое я взялся. Когда я приеду, и тебя познакомлю с перепиской, которая у меня завязалась, и ты воочию убедишься, какое колоссальное дело может выйти из этого всего. В смысле материальном я в это время жил неплохо, так как благодаря моему другу, редактору газеты Ф., я поместил около 20 статей как в его газете, так и в «Дер Таг», что мне, даже делясь с переводчиком, все же принесло 3—4 тысячи франков. Теперь, к сожалению, спрос уменьшился на этот жанр, но с осени опять начнут помещать статьи.

Я очень жалею, что не распорядился посылать тебе эти газеты, но, признаться, я не знал, как быть с адресом, так как с тобой об этом не условился. Но ты их, может, и сам найдешь за подписью «Артур Вай». Когда я приеду, точно сказать не могу. Пока нет денег на дорогу. Просить у моих неловко, я и так взял достаточно, а сами они что-то не догадываются. Мне очень хотелось приехать в Прагу. Сговориться с нашими самостийниками, переговорить с генералом Гайдой. Мне пишут, что они там тоже крутят, нечто вроде Галицийской комбинации в Варшаве, но базируясь на Прикарпатскую Русь. Хочу проверить это на месте.

Затем имею приглашение вместе с генералом Бичераховым приехать в Варшаву, но я не считаю возможным пользоваться их деньгами, так как еще окончательно не договорился, а затем и впечатление будет испорчено, если сразу брать деньги даже на дорогу. Больше выиграешь, если приезжаешь человеком совершенно независимым.

Но ты только вообрази, какая широкая перспектива передо мной открывается. Ведь весь вопрос о мобилизации в Галиции и формирование как украинских, так и казачьих и кавказских частей будет протекать при непосредственном мо-

ем участии. Сколько людей мне придется отовсюду туда переправить! Ведь десятки тысяч. Какая большая и интересная работа!

Весь план вполне обдуман тщательно. Постараюсь скорее достать деньги и тогда ни на минуту не задержусь. Все равно раньше сентября здесь делать нечего, и этот месяц хотелось бы употребить на разъезды.

Да, брат, дело большое, как только я с ним справлюсь! Уж очень люди сволочи пошли, трудно верить. Предательство со всех сторон, а зависти и недоброжелательства еще больше. Свои, русские генералы только и стараются, чтобы напортить как можно больше. Всю свою работу веду в страшной конспирации, главным образом опасаясь своих же. Ей-богу, опаснее большевиков. Конечно, в Берлине мне старались сильно нагадить, особенно наш общий приятель В. В. через своего подручного Х. И представь, нагадили здорово, но меня это не очень огорчило, так как я серьезного не вижу, но, к счастью, других наших знакомых они не узнали, а потому тем и не смогли нагадить. Трудно, очень трудно, но я не падаю духом и уверен, что наша возьмет!..

Что касается твоего долга, то мне кажется, он был несколько больше, но ведь ты — жадюга известный, так и норовишь забыть... Если у тебя есть тысячи, зажатых на груди, то пришли в долг, рассчитаемся, внакладе не будешь. Не давись только, пожалуйста, от жадности и не скули, а делай все поскорее. Все твое не пропадет. Рассчитаемся по-братски.

Ну, пока довольно, наверно, ты уже и читать устал, а главное, разбирать мой паршивый почерк.

Будь здоров. Дружески тебя обнимаю. Твой...»

— Если хотите, возьмите письмо себе. Мне теперь оно уже не нужно. Любопытный документик. Думаю, замыслы автора вам будут более понятны после всего того, что я рассказал. Могу даже фотокарточку в придачу предложить.

Я не стал отказываться.

Откровенность, доверчивость и расположение ко мне Ивана Алексеевича поражали меня, и я ожидал услышать и о его собственном видении давно отгремевших гроз, пронесшихся в России и на Кубани.

— Деникин уже в эмиграции опомнился, — рассуждал Иван Алексеевич,— признав, что существовавший в течение веков в империи режим не давал народу ни просвещения, ни свободного политического и социального развития. Беспросветная забитость русского мужика общеизвестна.

Но вот с дальнейшим утверждением уважаемого Антона Ивановича я решительно не согласен: «Драться с таким народом, у которого нет ни совести, ни стыда, было бессмысленно»,— полагал он. Тут хватил через край Антон Иванович, обвиняя весь народ, ну, а драться с народом, конечно, не стоило. Он это понял, и слава Богу. А вот Шкуро и других как будто это не касалось, просто они не задумывались над этими словами. Да они и не могли додуматься.

Мне пришлось все же спросить Ивана Алексеевича, умудреного жизненным опытом, так много повидавшего на своем веку, к чему привели его собственные осмысления того, о чем он мне рассказывал.

— У меня в душе поселилось чувство нелепости всех стараний Шкуро и его компании, я не только молил Бога, чтобы их затеи не сбылись, но и кое-что делал для этого.

Конечно, хотелось узнать, что именно, но на это я не отважился. Еще меня очень заинтересовала судьба Прасковьи Васильевны. Мне казалось, что я обязан был выразить Ивану Алексеевичу сочувствие по поводу его одиночества, но мне как-то неловко было это сделать, ничего не зная о ней.

Осмелившись, я пригласил его провести вместе время в кафе или ресторане, где можно было отдохнуть, предоставив ему право выбора места, как старожилу Праги. Иван Алексеевич охотно согласился.

Окончание следует.

Гавриил Солодухин

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ОДНОГО КАЗАКА*

Через три дня после парада нас погрузили в вагоны, и эшелоны двинулись на Москву. При нас не было никакого начальства, кроме комиссара. В Москве нам выдали новое обмундирование, и на четвертый день наш эшелон двинулся через Петроград в Ораниенбаум. Тут я заболел малярией и был отправлен в госпиталь. Почему я и не знаю, куда и сколько наших кубанцев отправили на службу. По выходе же из лазарета я узнал, что казаков посылали на пополнение во все форты крепости Кронштадт. Часть попала в сухопутный форт Красная Горка, что возле эстонской границы. На пятый день и я попал в Кронштадт, в рабочую команду при артиллерийском правлении. До нашего прихода в этой команде было шестьдесят человек, при командире роты, комиссаре и политруке. Теперь туда влили еще шестьдесят человек нас, казаков. Меня назначили старшим над казаками.

Мы работали каждый день — грузили и разгружали нефть, уголь, дрова, снаряды. На работу высылались партиями — по пять, десять, пятнадцать или двадцать человек в каждой. И вот происходит неприятный случай. В январе 21-го года появилось неожиданно для субботнего дня очень много работы. Наш ротный этого не учел и, как всегда, пустил своих приятелей домой, в Петроград, на два дня. Так что для выполнения этой работы он решил использовать лишь силы моей команды. Я выслал на работу всю команду и даже пошел сам с последними двадцатью своими казаками. В три часа дня я вернулся в казармы со всеми людьми. Меня тотчас же вызывает ротный и отдает приказ: «Сейчас же взять двадцать человек и немедленно идти разгружать нефть». Я ему доложил, что мои люди свои часы отработали, и на добавочные работы я их не пошлю. Сообщив об этом казакам, я сам пошел в баню. Возвращаюсь и вижу, что стоят два незнакомых красноармейца с винтовками. Я был арестован и под конвоем препровожден в штрафную роту. Там я пробыл две недели. На второй день получил повестку явиться в штаб артиллерийского управления к главному комиссару. «Ого, — думаю, — попался».

Прибыл. Он задает такие вопросы: «В белой армии был? Добровольно или по мобилизации? Был ли в ней унтер-офицером? — и добавляет: У нас в Кронштадте открылась школа красных курсантов. Это — будущие офицеры Красной Армии. Тебе предлагали туда поступить, но почему ты отказался?»

Этими вопросами он загнал меня в тупик. Что я должен был ему ответить на это?

До того, как я попал в штрафную роту, меня действительно вызывал наш комиссар и предлагал поступить в школу курсантов. Но тому малому комиссару я легко отказал, а вот что я скажу этому большому комиссару? Да еще тогда, когда на мне такое большое пятно? Так как я только что вышел из штрафной роты. И я сделался такой робкий и тихенький — как овечка. Я стал его просить, говоря, что я люблю землю, сеять хлеб, разводить скот и прочее. И к тому же я малограмотный, закончил всего лишь приходскую школу. Быть унтер-офицером — это одно, а чтобы стать офицером, надо иметь хоть небольшое образование.

«К тому же, — добавил я, — военным быть не люблю».

Он выслушал меня внимательно и говорит: «Ты, казак, можешь хорошо управлять лошадью? И хорошо ухаживать за ней? Так вот, у нас в артиллерийском управлении в команде ездовых не хватает одного кучера. Я тебя туда и направлю. Согласен?»

«Так точно, согласен!» — отвечаю ему.

«Тогда сейчас же иди в казарму, забери свои вещи и переходи в новую часть».

«Слушаюсь», — с радостью говорю ему. И мне так приятно стало на душе, что все обошлось. Так я перешел в команду ездовых. Это было в 21-м году. В первых числах февраля.

1 марта матросы Балтийского флота и весь гарнизон Кронштадта потребовали, чтобы к ним приехал для переговоров всероссийский староста Калинин, бывший тогда председателем Центрального Исполнительного Комитета. В тот же день на площади возле кронштадтского собора был устроен митинг. Приехал Калинин. Первое, что потребовали у него матросы, — это улучшения питания всего гарнизона. Потом поднялась серьезная политическая брань. Если не ошибаюсь, первым вошел на трибуну матрос Петриченко. Большого роста, широкоплечий красавец, бывший писарь гвардейского экипажа при царском правительстве. Он начал. Вот его подлинные слова:

«Товарищ Калинин! Мы, матросы Балтийского флота, первые подняли восстание против царского самодержавия и царских генералов. Мы проливали кровь за освобождение своего угнетенного народа и мы добились этого, сбросили гнет царизма. А теперь что? Самодержавие коммунизма?..

Мы требуем от вас конституцию и Учредительное собрание. Надо, чтобы народ свободно выбрал свое правительство сам. Пора положить конец насильству какой-то кучки коммунистов!»

Гром аплодисментов. Все присутствующие закричали: «Правильно! Ура! Ура! Урр-ра!.. Убить! Убить Калинина-самозванца!» Все хотели тут же его растерзать, но матросы, стоявшие в передних рядах возле трибуны, не подпустили к трибуне толпу разъяренных солдат.

На трибуну выходили еще человек десять — матросы и солдаты. И все они в общем повторяли то же, что сказал матрос Петриченко.

Наконец выступил Калинин и начал так: «Дети мои, вы заблуждаетесь. Вас перебьют, как куропаток. Вы маленькая кучка. Вы ничтожны перед многоликим русским народом...»

Этими словами он еще больше разжег негодование взволнованной толпы солдат и матросов.

«Уби-ить! Уби-ить его, гада!..» — закричала толпа и еще больше напирала на трибуну. Но матросы твердо стояли на своем, не допуская кровопролития.

Матросы решили выпустить Калинина живым, но поставили ему ультиматум: завтра же собрать в Петрограде совет народных комиссаров на совещание, куда прибудет делегация от кронштадтского гарнизона. Совещание созывается для решения тех вопросов, которые ему были заданы здесь.

Калинин согласился. Сел в сани и, сопровождаемый красными курсантами, выехал в Петроград. В тот же вечер по всему гарнизону и фортам были избраны представители в руководящие органы. После отъезда Калинина были избраны и руководители восстания.

В то время, при большевиках, начальником кронштадтской крепости был назначен артиллерийский генерал Козловский. А начальником его штаба — полковник Бикгсгер — оба бывшие царские офицеры. Им было предложено оставаться на своих местах и руководить восстанием. Но они наотрез отказались, говоря, что это даст в руки коммунистам большие козыри. Дескать, восстание подняли царские генералы, а не матросы и солдаты. Все с этими доводами согласились и для руководства восстанием выбрали трех матросов: Петриченко, Яковенко и Романенко. Все они были старыми матросами старого царского гвардейского экипажа. В их руках была сосредоточена вся полнота власти, все руководство восстанием. Но строевое и техническое руководство осталось у офицеров как у специалистов.

На другой день выбранная восставшим гарнизоном делегация (в ее состав входило 12 человек) отправилась в Петроград. Но как только делегация прибыла на берег, то их всех немедленно же арестовали. Назад они не вернулись, и мы их больше не видели.

Закипела вода. В котел высыпали пшено. Варка каши началась с приправой из «казачьего сала», так как все это началось не без нашего казачьего вмешательства.

В то время по всему кронштадтскому гарнизону были разбросаны кубанские молодые казаки, не меньше двух тысяч. Среди них были и иногородние с Кубани, но таких было немного.

Первого марта все побережье от Петрограда до форта Красная Горка, что возле границы с Эстонией, было на протяжении 80 верст очищено красным командованием от прежних войск как ненадежных. Их заменили курсантами и специальными войсками. Надежных войск у советского правительства было тогда немного. Поэтому-то коммунисты и не затушили восстания в самом зародыше. Дня через четыре, ночью, небольшая часть красной пехоты атаковала Кронштадт, но была почти полностью уничтожена.

Ночью же с 7 на 8 марта к кронштадтцам перешел без боя в полном составе пехотный полк силой около двух тысяч штыков. А дело было так: когда этот полк перешел на сторону восставших, нас, команду ездовых с санками, выслали навстречу перешедшим, чтобы подвезти их больных и уставших. В числе ездовых был и я. О том, как я попал в эту команду, я уже писал. И вдруг в этом полку встречаю своих станичников-казаков, моих же сверстников, вместе со мной мобилизованных на Кубани летом прошлого года. Эти мои станичники и рассказали их историю.

«Мы служили в форту Красная Горка, — начали они свой рассказ. — По льду это будет верст 25—30 от Кронштадта в направлении на запад к эстонской границе.

1 марта вечером до нас дошел слух, что восстал Кронштадт, а 2 марта наш комиссар созвал митинг и говорит: «Товарищи, нам приказано сегодня же ночью выбить их и занять Кронштадт!»

Мы все закричали: «Не пойдем! Не пойдем! Это наши братья там, такие же, как и мы!»

Комиссар увидел, что дело не пойдет, и приказал всем вернуться в казармы. А через час пришли курсанты и забрали наши винтовки. Вечером же у нас, часов в 9, отобрали ботинки, и мы оказались не только арестованными, но и босыми. Попав в такое беспомощное положение, мы все сговорились дать комиссару согласие пойти в на-

* Продолжение. Начало в № 2—3.

ступление на Кронштадт, но с тем, чтобы в дороге перебить комиссаров и тех начальников, которые будут против нас, и перейти к восставшим. И мы стали громко кричать: «Товарищи! Товарищи! Идемте в наступление на Кронштадт!»

Позвали комиссара. Рассказали ему о своем желании участвовать в подавлении восстания. Он поверил и вернул полку винтовки и обувь. И вот 7 марта весь наш полк, с этим же комиссаром во главе, двинулся на ближайший от нас форт. Прошли мы часа два, и когда были достаточно далеко от своих, когда звуки наших выстрелов не могли донестись до красных фортов, мы взяли в штыки этого комиссара и своих политруков. Досталось и некоторым командирам, кто хотел их защищать. Других же командиров обезоружили. Тут же мы выслали вперед к восставшим наших делегатов. Надо было уведомить Кронштадт, чтоб по нам не открывали огня, так как мы идем сдаваться».

«И вот теперь мы с вами», — так закончили свой рассказ мои станичники-ильинцы.

Этот полк был сформирован из новых, из таких вот молодых солдат, как и мы. В нем было до 500 кубанских казаков, остальные поголовно были украинцами. Всех же их было около 1800 человек.

Так что и здесь казаки проявили свою инициативу и сдали восставшему Кронштадту целый полк.

Большевики подтянули к Петрограду свои силы из других районов, где войска не знали, кто поднял восстание, и 12 марта повели энергичное наступление на Кронштадт. Наступали ночью. Все солдаты и командиры были одеты в белые халаты, чтобы быть незаметными на снегу. Но все они были отбиты. В ночь с 17 на 18 марта большевики повели новое наступление большими массами пехотинцев, цепями в несколько рядов. Наступление шло со стороны Ораниенбаума, до которого было семь верст. Бой длился 5—6 часов. Кронштадтцы отбивались только артиллерийским огнем, девятью- и двенадцатидюймовыми пушками. Такие снаряды рвали лед, и все, что было на нем — солдаты, пулеметы, пушки, — все шло под лед и тонуло. Наутро нас, ездовых, выслали на санях подбирать мертвые тела у петроградских ворот восставшей крепости. Мы приехали туда, и Боже ты мой, Боже! что мы там увидели! Трупы повсюду, насколько мог охватить глаз пространство. Человеческие тела раздроблены, как на бойне. Из-под льда выступала вода, ставшая красной от крови.

Большевики были разбиты поголовно этим своим массовым наступлением. Кронштадта взять им не пришлось. Также не взяли ни одного укрепленного форта.

И все же восставший гарнизон знал, что он не сможет долго продержаться. Было решено оставить Кронштадт и отходить в Финляндию.

В два часа дня 18 марта мы, ездовые, получили приказ от своего начальника ездовой команды запрячь в сани всех лошадей и положить на сани как можно больше тюков сена и мешков с овсом, так как весь штаб переезжает в новый форт (забыл его название). Он стоит в семи-восьми верстах от Кронштадта. По льду находится он в 14—15 верстах от финского побережья.

В три часа дня мы, ездовые, со всем нашим начальством и с военным штабом покинули город Кронштадт.

Когда мы ехали по льду до указанного форта, то я лично видел, как тысячи солдат спокойно отступали с тех фортов, которые находились поблизости к Петрограду и Ораниенбауму, они шли в указанный форт.

А когда мы приехали со всем штабом в этот форт, то через полчаса получили новый приказ — отступать в Финляндию. Ехать и идти прямо вот на тот красный маяк, который светился с финского побережья.

В пять часов вечера 18 марта мы поехали и пошли в Финляндию. При полной тишине, ни одного выстрела не было. И со стороны большевиков нас никто не преследовал.

За те семнадцать дней, когда мы держали Кронштадт в своих руках, у нас было очень мало потерь, но потери-то выпали на нашу казачью долю.

6 марта был солнечный день. В одном форту, ближе к Ораниенбауму, три казака вылезли на поверхность форта и грелись на солнышке. В это время шедший по направлению к Ораниенбауму красный бронепоезд открыл по форту огонь и первым же снарядом убил наповал двоих казаков, а третьего ранил. Так что в кронштадтской крепости пролилась и казачья кровь. Царство небесное погибшим!

«Казак-казак!.. Куда б тебя Бог ни заносил—
Везде ты щедро свою кровь пролил!»

19 марта восставший кронштадтский гарнизон по льду прибыл в Финляндию. Перешло приблизительно одиннадцать тысяч восемьсот человек. В том числе до двухсот семей. Покинутый восставшими Кронштадт опустел.

Уже в Финляндии мы читали большевистские газеты, в которых был помещен приказ Троцкого, сообщавший, что подавление Кронштадтского восстания обошлось Красной Армии до 84 тысяч солдатских жизней.

«Мы потеряли лучших своих солдат», — так заканчивал свой приказ Троцкий.

В ФИНЛЯНДИИ

В Финляндии возле города Териоки нас, восемьдесят человек и восемьдесят лошадей, поместили на заброшенной даче какого-то русского богача. Здесь мы пробыли недели две. Наконец, Красный Крест продал наших лошадей, а людей отправили в главный лагерь участников Кронштадтского восстания. Лагерь находился в бывшем русском форту Ино. Там было до

4 тысяч солдат и моряков. Условия жизни были скверными. Питание — тоже: тут я впервые почувствовал голод. Красный Крест кормил нас впроголодь. В лагере появились болезни. А недели через две откуда-то взялись советские газеты, в которых объявлялась амнистия всем кронштадтским повстанцам, кроме непосредственных руководителей восстания. Очень многие записались на возвращение на родину, даже казаки. Записался и мой лучший друг с детства Иван Тучков. Он пал духом, его заела вошь. Да еще и голод. Я уговаривал его не ехать, но он отвечал мне так:

— Какая разница, здесь с голоду умереть или там большевики расстреляют. Здесь я должен мучиться, покуда вошь не загрызет, а там — одна лишь пуля... и конец!

Я распрощался со своим лучшим другом и многими станичниками, которых больше не увидел. По слухам, за две недели на родину выехало больше четырех тысяч. Оставшихся же перевезли в один лагерь, на островок Туркен-Саари, что недалеко от города Выборга. Там были бывшие казармы русских войск, куда и поместили солдат и матросов из Кронштадта. Офицеров же поместили отдельно, в бывшую военную православную церковку. Возвращение на родину прекратилось, и финское правительство распорядилось отправлять всех на работу. Вначале выделили плотников на ремонт казармы. Их поместили в отдельный барак. Меня же назначили старшим этого барака. Дали мне четырех помощников для уборки. По вечерам я со своими помощниками ходил получать хлеб и суп для плотников. Им давали удвоенную порцию. Кроме того, их кормили там, где они работали. Платили три марки в день. Принесенный суп они ели, но хлеб брали с собой. Много хлеба оставалось и мне. Питался я вдоволь да еще подкармливал многих казаков, которые не попадали на работы и сидели на острове. Теперь я зажил хорошо: имел чистое белье и отдельную комнатку при бараке. Еды было вдоволь. Всех папирос я не выкуривал и часть курева раздавал казакам. Папиросами меня наделяли плотники. Кругом — вода, тепло. Делать было нечего, и я много купался в море. Я располнел и выезжать на работу с острова не собирался. Мне и здесь было хорошо. И так как я оставался все время на постоянном месте, здесь, на острове, в лагерях, то я уговорился с казаками, которые выезжали на работу, чтобы они мне писали, какая у них работа, хорошо ли их кормят и с кем из казаков хотят переписываться. Таким образом наладилась хорошая связь между казаками.

Между островком Туркен-Саари, на котором находился лагерь кронштадтцев, и городом Выборгом была постоянная связь. Маленький катер отвозил (через комендантское управление) выезжающих на работы и привозил их обратно. Всем было скучно, и к прибытию катера многие выходили к маленькой пристани «за новостями». И вот однажды вышло к пристани казаков двадцать, и я с ними. Все мы были в белых кубанских шапках, грязных и сильно потрепанных. Остальная одежда была солдатская и тоже сильно потрепана. Видим, с баркаса выходит несколько человек. Один из них лет тридцати, среднего роста, стройный, походка, как на пружинах, — сразу видно, что военный, да еще гимнаст. Одет он был в поношенную солдатскую шинель, в рыжих сапогах, в измятом картузе. Он смело подходит прямо к нам, и тут же скопытка бодро произносит: «Здорово, братцы-кубанцы». Сказал, а у самого то ли от волнения, то ли от радости слезы на глаза навернулись, и потом спрашивает: «Неужели вы впрямь настоящие, наши родные кубанские казаки?»

Мы ему ничего не ответили и встретили его как-то холодно, не очень-то обращая на него внимания. То ли потому, что он так посолдатски был одет, то ли потому, что нас, казаков-друзей и сверстников, было много на пристани, и какой интерес отвечать на приветствия каждого прибывшего солдата.

Незнакомец стоит возле нас и внимательно рассматривает наши лица, будто кого-то разыскивает. И вдруг его глаза останавливаются на одном нашем станичнике. У незнакомца задрожала челюсть... Казалось, вот-вот он разрыдается. И потом спрашивает его: «Ты казак станицы Ильинской? Никита Ельчишьев? Да?»

Никита и рот раскрыл от удивления и думает, кто же этот человек, который так хорошо его знает. Незнакомец вновь спрашивает: «Ты меня не узнаешь?»

— Смотрю на вас и думаю, будто где-то видел, да не вспомню, — отвечает Никита Ельчишьев.

— Я — полковник Елисеев, — говорит незнакомец.

— О, господи полковник, да я вас не угадал! — восклицает Никита. Боже мой! Сколько у обоих радости! Полковник Елисеев, как мальчишка, бросился к Ельчишьеву, сжимает его за плечи, целует — будто он родного брата встретил. Мы все, увидев такую встречу, обступили полковника. После встречи с Ельчишьевым он по очереди, за руку здоровается с каждым из нас и говорит:

— Вот уж никогда не ожидал встретить здесь кубанских казаков, в далекой Финляндии! Как я рад! Как я рад!

Никита Ельчишьев был конным вестовым у войскового старшины Андрея Ивановича Елисеева, родного брата этого полковника. Они вместе отступали к Черноморскому побережью в 1920 году и там остались в составе капитулировавшей Кубанской армии. Теперь полковник бежал из Сибири, куда был сослан, и вот — неожиданная встреча здесь.

После пошли к коменданту лагеря, для регистрации. И с этого дня полковник Елисеев каждый день долго сидел с казаками

на каменной глыбе. Много о чем говорили и, конечно, о Родине, о Кубани.

Полковник Федор Иванович Елисеев жил в офицерском бараке со всеми офицерами восставшего гарнизона Кронштадта и пользовался большим уважением. И нам как-то стало больше чести. Мы стали гордиться перед солдатами-кацапами своим атаманом. Тогда у нас, у казаков, не угасало чинопочитание. Мы, все казаки, называли его: «Господин полковник», и даже при встрече слегка «козыряли», что, конечно, резало глаза многим матросам и солдатам, которые чинопочитание давно забыли. Некоторые из них стали нас ругать, а другие хвалить, говоря: «Молодцы, казаки! У вас есть еще уважение к старшим».

Полковник Елисеев заметил недовольство матросов и попросил нас не титулировать его, а называть по имени и отчеству. Мы запротестовали: «Как? Почему? Да какое дело?» и прочее.

Тогда один черноморец, окончивший войсковой учебный конный дивизион и бывший также на черноморском побережье при гибели Кубанской армии, сказал: «Тогда мы, по старинному запорожскому обычаю, будем называть вас «батько».

С этого дня мы так и стали называть его, и за глаза, и при личном общении — «батько». Но многие из нас из чувства уважения к нему часто отвечали так: «Здравия желаю, батько, господин полковник!»

Здесь нужно отметить, что мы все были молодые казаки 1900-го или 1901 года рождения. Полковник же Елисеев родился в 1892 году, то есть был на восемь-девять лет старше каждого из нас. К тому же, по-настоящему служили мало, и он для нас — непререкаемый авторитет. Батько пробыл с нами на острове около двух месяцев и выехал на работы в район города Фридрихсгамм.

Уехал наш батько, и мы почувствовали себя одинокими. Без него стало грустно, потому что он пришелся нам по сердцу. К тому же, со всеми нами он держал себя просто, не как офицер и тем более не как полковник, а как старший, умный, опытный, знающий жизнь брат-казак. И в нем мы почувствовали в лагерях и свою силу, и свою защиту.

Число людей в лагерях все уменьшается и уменьшается. Все стремятся выехать на работу. Подошла зима, повалил снег, прекратились казенные работы и у моих плотников. Их стали отправлять на частные работы. Похоже на то, что и мне в лагерях скоро нечего будет делать. И вот с последней группой в шестьдесят человек отправили на работы и меня. Лагеря к тому времени уже расформировали и там остался лишь штаб. 21 декабря 1921 года нас отправили куда-то на север поездом. И на другой день высадили на маленькой станции. Это был уезд Ялосарви, в Вазаской губернии. Здесь нас стали разбирать на работы прибывшие финны-фермеры. Всякий выбирал себе подходящего работника. Хозяин подходил с выбранным к столу, где в книге у местного чиновника расписывались и наш брат-рабочий, и хозяин-финн. Таким образом, наша группа уменьшалась, а меня обходят и не берут. А я в свою очередь стою и думаю: «Вот ежели бы этот меня взял... У него голодать не буду». Я почему-то боялся, что у бедного хозяина наголодаешься. Это моя ошибка. В Финляндии все, и богатые и бедные, питаются хорошо. Но мои мечты не сбывались. Меня все обходили. Осталось нас 5—6 человек. Входит новая пара, финн и его жена. Финн высокого роста, одет небогато, а она маленькая, да еще и горбатая. И одета бедновато. Остановились они против нас и стали выбирать. А я думаю: хоть бы меня не взяли! Так как мне они оба не понравились. Смотрю, эта горбатенькая женщина указывает на меня. Но муж крутит головой, дескать, не подходящ. Я же ругаюсь в душе и хочу, чтобы они не остановили на мне свой выбор. И что же? Маленькая горбатая женщина подходит ко мне, мило улыбается и просит следовать за ней, к столу. Отказаться нельзя. Подошел, расписался, но вижу, что хозяин мной недоволен, так как он оглянулся назад, да еще раз посмотрел на тех, кто оставался.

Дело найма рабочего закончено. Хозяюшка вежливо берет меня за руку и ведет на улицу к своим санкам. Смотрю — отличные санки, в упряжке отличный конь рыжей масти. Хозяин взял вожжи, и сильный конь резко и быстро взял с места. Быстро промелькнули верст тридцать до их фермы. Хозяюшка старалась со мной заговорить в дороге, но я тогда ничего не понимал по-фински.

Прибыли. У них большой хороший дом, два сарая, конюшня, десять дойных коров и десять овец. У них два работника и молоденькие смазливые работницы. Трое детей и все похожи на свою мать. Хозяин мой оказался бывшим борцом и вообще — спортсмен. Показал мне все призы — бокалы, медали, жетоны, портрет, где он снят с нашим знаменитым борцом Поддубным. В метании диска, гонках на велосипедах и на лыжах — везде он устанавливал рекорды, даже в рубке дров. Теперь он полицмейстер. Жена у него с образованием, очень милая женщина, даже по-своему красивая. После поздних родов, пять лет тому назад, она заболела и стала горбатой. Так было жаль ее! Старшей девочке было 12 лет, мальчику — 10, младшей девочке — пять, а самой матери 34 года. Все они милые, вежливые и сразу же полюбили меня.

На другой день хозяин повел меня и других работников перевозить сено из одного сарая в другой. Вилы, по прежней станичной привычке, так и играли в моих руках. Вижу, хозяин очень доволен. Это была проба. Потом мне показали и другие виды моих работ по хозяйству, и со всеми я справился довольно легко.

Мне отвели отдельную комнату с хорошей кроватью и постельными принадлежностями. Так принято в Финляндии: рабочему, то есть работнику, полагается отдельная комната с постелью и бельем.

На третий день после моего прибытия, в канун праздника Рождества Христова, хозяин отпустил обоих своих работников по домам, а мне наказал, чтобы я наколол дров, которые лежат возле дома. Я в своей жизни дров никогда не колол — не умел. В нашей станице не было леса. Кругом степь. Потому-то я не умел колоть.

Хозяин подвел меня к дровам, положил одно бревно прямо в снег, другое же бревно поперек первого, и так ловко у него ходит топор, и так легко колется бревно, что смотреть любо. Топором же он будто играет. Потом отдает мне топор и указывает, дескать, коли, как я тебе показал. Отдав мне топор, он пошел в дом. Я стал колоть. Вначале шло будто хорошо, но чем больше я колю, тем получается у меня все хуже и хуже. Потом я и вовсе не мог колоть, потому что то бревно, на котором я колол, глубоко вошло в снег. Возле меня лежала большая каменная глыба, как раз на уровне снега. Я посмотрел на этот камень и подумал: «Дурак мой хозяин, заставил колоть на снегу. На камне будет гораздо устойчивее.»

Я положил бревно на камень, размахнулся топором, и бревно очень легко раскололось надвое. Вот, думаю, это я разумно приспособился.

Наколол я десятка два бревен, но вижу, что топор мой начинает плохо работать, а дальше и совсем не может колоть. Посмотрел я на него и вижу, что он весь в крупных щербинах. Вот почему он не колет, решил я, топор плохого качества.

«Чтоб у хозяина зубы были такие!» — с досадой сказал я сам себе. В то время пришел хозяин звать меня на кофе. Я ему показываю на топор: «Посмотри, мол, какой он у тебя хороший! Как же я могу им работать?» Хозяин взял топор, посмотрел на него и... бросил далеко-далеко в снег.

«Пэргели-пэргели, веная пойко!» — выругался он, то есть: «Черт возьми этого русского парня!»

Потом показывает на камень и как бы говорит: «Ты дурак, ты ведь рубил камень... а топор здесь ни при чем!»

Тут только я сообразил, что во всем виновен один я, но не топор. Мы пьем кофе, но я так чувствую себя униженно перед хозяином, что и кофе не пьется.

Хозяин стал рассказывать, как я колол дрова, но рассказывал не со злостью, а со смехом. Работницы и дети, услышав его рассказ, залились смехом. Но хозяюшка лишь улыбалась, видимо, не хотела меня обидеть. Она принялась угощать меня. Принесла даже пирожных, что приготовила к завтрашнему празднику Рождества Христова.

Выпили кофе. Хозяин рукой показывает, чтобы я не уходил из-за стола. Хозяин стал что-то говорить работнице, и все залились веселым смехом. Моя милая хозяюшка сдерживалась, а я сижу, ничего не понимаю и не знаю — смеяться мне или горевать?!

Хозяин зовет меня в сарай. С нами идет и одна работница. Она при хозяине показывает мне, как надо чистить овец и коров, как и сколько надо класть торфа на подстилку, и прочее. Работница показывает, а сама все время улыбается.

Хозяин куда-то пошел на лыжах. Работница стала колоть дрова. Я закончил чистку сарая. Прибежали дети хозяйские и зовут обедать. Это было в 12 часов дня.

Пообедали. Хозяюшка показывает рукой, что сегодня работать не надо больше, так как начинается канун Рождества. Я все понял и кивком головы показал это.

Сидеть без дела в доме было скучно. От нечего делать пошел в конюшню и начал заплетать лошадям хвосты и гривы. Через три часа я их расплел, расчесал, и они получились волнистые.

Вернулся хозяин, зашел в конюшню. Увидел мою «работу» с хвостами — улыбается. Вижу, он доволен. Зовет в дом пить кофе. Он пьет и рассказывает что-то обо мне. И когда дети и работницы побежали в конюшню, я понял, о чем он рассказывал. Вернувшись, дети с жаром стали рассказывать матери о волнистых гривах и хвостах их лошадей. Все были довольны.

Моя работа и отношение к своим обязанностям понравились хозяину. После Нового года он уволил одного рабочего, а еще через три недели уволил и другого. Это было в субботу. Хозяин позвал переводчика — карела. Через него хозяин передал мне, что мною они очень довольны и что я вполне управляюсь один в хозяйстве вместо двух бывших работников финнов. Им он платил по десять марок в день, а мне теперь будет платить двенадцать вместо трех марок, установленных финским правительством для кронштадтских беженцев. Кроме, того, карел передал от хозяина, что он как начальник уезда очень доволен всеми русскими работниками. В его уезде восемнадцать человек кронштадтцев.

Воспользовавшись таким любезным отношением хозяина, я спросил, почему он не хотел брать меня в работники, как я заметил тогда, при разборке нас? Тут моя милая хозяюшка, несчастная калека, подскочила ко мне, хлопает меня по плечу и говорит, что ее муж боялся меня брать потому, что я был такой полный, чистый, белый, и все финны думали, что я не «рабочий», а наверно писарь или офицер. «Но скажи ты нам, кто ты?» — добавила она.

«Я тебя не пойму, — говорит хозяин, — я полицмейстер, вижу многих людей, а тебя не пойму. Ты хорошо воспитан, как будто не рабочего класса, но в то же время все можешь делать, вот только дрова колоть не умеешь!» — При этих словах все засмеялись. Тогда я подвожу их к географической карте, которая висела в комнате, и, показывая на узловую станцию Тихорецкая, говорю: «Вот здесь я родился и вырос. Види-

те — на двести километров кругом равнина и леса нет. Все степи да степи. В своей жизни я дров никогда не колол.»

Они спрашивают: «Там ведь живут казаки?»

«Да. Я — природный казак. Из предков в предки казак.»

Услышав это, они открыли рты. Молчание. Потом стали с интересом расспрашивать, как жили казаки, что делали, то есть чем занимались. И я рассказал им о нашей казачьей жизни. Говорил часов пять. Все слушали очень внимательно. Я открыл совершенно неведомый для них «казачий мир». Хозяин же мой так расчувствовался, что запряг лошадь, и мы втроем с переводчиком поехали к тем хозяевам-финнам, у которых работали украинцы-кронштадтцы. Всем им платили 4—5 марок в день. Мой хозяин как начальник уезда посоветовал всем платить по 10–12 марок, на что все согласились.

Финское правительство запретило кронштадтцам менять место работы, и это распоряжение было отменено только в 1923 году.

Подошла весна. В поле стало больше работы. Хозяин просит меня найти для него второго работника. Ко мне он и вся его семья относилась так, что лучших не сыскать. Платил уже 15 марок в день. Пользуясь этим, переманил к нему Семена-украинца.

Здесь я должен подчеркнуть, что все мы, казаки, жили с украинцами очень дружно. Они считали себя такими же казаками и такими же ненавистниками большевиков, как и мы, кубанские казаки. Одно можно сказать, что душой, переживаниями мы были одинаковы.

И вот Семен-украинец живет и работает со мною у моего хозяина. Я так с ним подружился! Полюбили нас и хозяева. В поле, на работе мы были самостоятельными работниками. Хозяин имел к нам полное доверие.

Батько, Федор Иванович Елисеев, высылал всем казакам газету «Казачьи думы» и вел с ними переписку. Он приглашал прибыть к нему в Фридрихсгамм, написав, что может устроить меня на лесопильный завод, где работал он сам. «Ты мне нужен, — добавлял батько, — здесь нас 16 кубанских казаков. Нужно образовать хутор, но энергичных казаков мало, а ты, как я тебя понял в лагерях на острове Туркен-Саари, энергичный казак. Приезжай как можно скорее!»

В ГОРОДЕ ФРИДРИХСГАММЕ, ОН ЖЕ И ХАМИНА

И вот я в городе Фридрихсгамме. Это шведское название города. По-фински же он называется Хамина. Меня встретил на вокзале сам батько, полковник Елисеев. И сразу повел на свою квартиру. Пришли к нему еще несколько моих сверстников, кубанских казаков-кронштадтцев. Выпили и закусили. Запели родные песни, и сразу же повеселело на душе. Вот что значит быть среди своих по крови людей — сразу же прошла печаль. Да еще я был вместе с батькой, которого так уважал.

В группе батьки, где я работал, было шесть человек: нас двое казаков-кубанцев, два кронштадтских матроса, одногодки полковника Елисеева, один старый солдат из Псковской губернии и один ингерманландец — Велли. Жили мы между собой дружно, как дружно и работали. Я завтракал и обедал с батькой, у его хозяюшки — вдовы местного священника, у которой он снимал большую комнату — бывший класс русской школы. От батьки я получал поучения, советы, иногда приказы. Это делалось с целью организовать здесь кубанскую казачью станицу. Он мне говорил: «Я — полковник. После революции народ распустился. Хоть казаки и не так распустились, но все же некоторые из них не желают уважать старшего по чину. Если я начну с ними говорить о хуторе или станице, то они могут подумать, что опять начнется военщина и дисциплина. Поэтому лучше ты за это дело берись. К тому же, здесь пять твоих станичников. Они тебя уважают. А я буду помогать тебе советами. Конечно, вначале надо организовать хутор, так как здесь нас только восемнадцать человек. Для станицы этого мало. Если казаки согласятся организовать хутор, выдвинут в атаманы меня, я откажусь и порекомендую тебя».

Я вполне согласился с доводами полковника Елисеева. Переговорил с местными казаками, и все согласились образовать хутор. Собрались вместе, и я обратился к ним со следующими словами: «Братья-казаки! Вы все знаете, зачем мы сегодня здесь собрались. Теперь, ребята, я хочу попросить нашего батьку сказать нам, что он получает от нашего Кубанского Войскового атамана генерала Науменко. Какие просьбы, директивы, приказы?»

Все в один голос выкрикнули: «Батько! Мы вас просим!»

Полковник Елисеев встал и говорит: «Хлопцы! Как вам уже известно лично от меня, я веду переписку с атаманом Науменко, который находится в Югославии. Он просит организовать здесь казачью станицу или же хутор. Организация нужна для нашего Кубанского войска, чтобы знать, сколько всего казаков за границей. Это поможет казачьей сплоченности. Это надо ради будущих событий и для истории казачьего войска. Да и для нашей жизни здесь так будет лучше. Конечно, надо установить и членские взносы. За эти деньги мы будем выписывать казачьи журналы и газеты. Будем выписывать и другие газеты. Заведем библиотеку. Надо всем читать, надо всему учиться, надо знать, что делается в мире».

Все были согласны с этим и решили сначала образовать кубанский хутор. Надо сказать, что финское правительство подозрительно смотрело на всех русских, и здесь было нельзя официально провозглашать казачью организацию

Приступили к выборам атамана хутора. Все закричали: «Вы, вы, батько, будете атаманом». Он поблагодарил нас, сказав: «Спасибо, хлопцы, за честь, но принять атаманство я не могу. Я слишком занят другими делами. В хуторе же состоять буду и, если нужно, всегда вам помогу. Но вы сами выберете атаманом кого-либо из вас. Я лично выставляю кандидатом вот Гаврилу Солодухина. По-моему, он будет хороший атаман. Кого вы еще выдвигаете?»

«Никого», — ответили все.

«Так что же, все ли согласны, чтобы Гаврила был хуторским атаманом? Давайте проголосуем!»

«Не надо! Не надо! Хотим Гаврилу в хуторские атаманы!» — дружно сказали все. Таким путем я стал атаманом кубанского казачьего хутора в Финляндии.

Немедленно же я стал писать письма другим казакам в Финляндии, что у нас организован кубанский хутор, и присоединяйтесь, дескать, к нам. И к Новому, 24-му году в хуторе было 46 казаков. После Нового года я собрал хуторской сбор. Собралось 28 казаков, проживающих в Фридрихсгамме и поблизости. Остальным написал, в чем дело, пояснив, что теперь нас 46 человек и мы можем развернуться в станицу. Надо избрать станичное правление, составить приговор и отослать его на утверждение Войсковому атаману. Но если лично не сможете приехать на сбор, напишите, кого вы хотите избрать станичным атаманом. От всех я получил ответ, что атаманом обязательно должен стать наш батько полковник Елисеев.

На сбор прибыло 28 казаков. Как хуторской атаман я доложил, что теперь мы можем переименовать наш хутор в станицу. Нужно составить приговор об этом и послать на утверждение Войсковому атаману. «Согласны ли?» — спросил всех.

«Согласны! Согласны!» — выкрикнули все.

«Теперь, господа, надо выставить кандидата в атаманы. Мой совет — просить полковника Елисеева принять атаманство», — говорю я им.

«Батько, батько, мы вас просим!» — зашумели они.

«Ну, а может, еще кого выставить?» — спрашиваю.

«Нет, нет, только батько!» — шумят все.

Батько встал и сказал: «Спасибо, хлопцы, я согласен. Теперь надо избрать помощника атамана, писаря станицы и казначея. Указывайте на кандидатов».

«Гаврилу, Гаврилу — в помощники! Он и так уже много сделал!» — заговорили первым долгом мои станичники, да и другие казаки.

«А может, еще кого в помощники?» — спрашивает батько.

«Да чего там, Гаврилу, Гаврилу!» — шумят все. Так я и стал помощником атамана Кубанско-Финляндской казачьей станицы, как мы ее назвали.

Станичным писарем избрали Тишку Медведева, казака станицы Новоалександровской Лабинского отдела; избрали и ревизионную комиссию, но деньги в уплату членских взносов постановили высылать только на имя атамана станицы.

Избрания ревизионной комиссии потребовал сам полковник Елисеев: «Чтобы не было раздора между вольными людьми», — как он сказал. Все были очень довольны и закончили выборы дружным весельем.

Еще до оформления станицы мы были уже одеты по-казачьи: белые шапки, темно-синей диагонали бриджи с красным кантом, темно-синие суконные гимнастерки. Так приоделись не все, но большинство. Зарабатывали мы хорошо и на все казачье денег не жалели. Полковник Елисеев всегда всем казакам говорил: «Одевайтесь шиково, да так, чтобы любая финка, посмотрев на вас, хоть и не приласкала бы, но все же подумала об этом... И от этого вам будет приятно».

Мы все брили головы. Некоторые не хотели этого. Но так как я управлял казачьими делами, то прямо, как в армии, приказывал: сбрей — и все! За это меня некоторые не любили. Я же любил порядок и дисциплину. И если я что-либо сказал, то дальше со мной разговаривать нечего, а спорить со мной не стоит. Таким образом, моему приказу повиновались. Полковнику Елисееву это нравилось. Он гордился нами. Нас уважал весь город, в особенности русские аристократы, которые там как старожилы жили богато и совершенно независимо от финского населения и власти.

Полковник Елисеев пользовался большим почетом и уважением всех русских в городе. И среди аристократов, и среди простого люда. Он всегда стоял за нас горой и всему нас учил. Он нам часто говорил: «Хлопцы, держите себя с достоинством. Покажи свою казачью выправку! Будь вежливым и делай уважение старшим. Покажи свое благородство, но будь гордым казаком и, где надо, дай отпор! Пусть видят во всем казака-молодца! Вот вам пример — наш хозяин Аладьин: миллионер, а дает вам руку. А почему? Да за ваше молодечество. А вот его зятья — гвардейский офицер Генерального штаба полковник Архипов, военный юрист генерал Добровольский и полковник Гильбих, — все они здороваются с вами за руку. За что? Да за вашу вежливость, за вашу всегдашнюю бодрость, за ваше молодечество. Держитесь так всегда. Молодцы вы! И мне это приятно — знать и слышать все хорошее о вас!»

Из нас он сделал хороший казачий хор и научил танцевать и «казачка», и «лезгинку». Сам он очень хорошо танцевал. Вообще он был настоящий казак и учил нас только хорошему. К нашей чести, должен сказать, что мы его глубоко уважали, верили ему, слушались его, да и гордились им, как на-



Кубанско-Финляндская станица. Елисеевцы. Второй справа автор

шим батькой-атаманом, да и собою гордились.

Были такие случаи, когда наш хозяин завода, Константин Константинович Аладьин, приглашал к себе гостей — он всегда приглашал и полковника Елисеева с казаками к себе в дом как гостей спеть казачьи песни и станцевать. Полковника сажали на почетное место. Нас сажали за тем же столом. Конечно, батько брал с собой только нескольких из нас, кто мог петь и танцевать и кто был хорошо одет в ту форму одежды, которую я описал. Еще должен добавить о нашем хозяине: он русский, ему лет 55, с малых лет в Финляндии, имеет несколько собственных домов в городе, на свои деньги построил русскую церковь и школу. С детских лет говорит по-шведски и по-фински. Теперь он гражданин Финляндии. Одно время был торговым консулом в Швеции. У него три сына, все с высшим финским образованием. Вообще он был очень богатым и большим человеком здесь: и среди финской интеллигенции, и среди богачей. Пишу это для того, чтобы показать, что он фактически совершенно не нуждался в нас, казаках, но как большой русский патриот нас полюбил, именно за нашу вежливость, уважение к старшим и за молодечество.

Под Рождество 1923 года русская интеллигенция Фридрихсгамма решила устроить спектакль в русской школе. Аладьин пригласил к себе нашего полковника и говорит ему.

— Федор Иванович, я хочу, чтобы вы со своими казаками приняли бы участие в спектакле.

— Конечно, почему бы нам не принять участия, — ответил он.

И со всеми, кто способен хоть немного петь и танцевать, батько начал репетиции. Ставилась «Наталка-Полтавка», и мы должны были участвовать в спектакле как певцы и танцоры.

Вот и вечер русской колонии в Фридрихсгамме. Все ждали его с интересом — что же покажут казаки? И когда открылся занавес, на сцене стояло свыше 20 казаков-елисеевцев. Все в темно-синих бриджах с красным кантом, такого же цвета гимнастерки. Все в суконных наговицах черного цвета, в мягких чувяках без подошв. Казачьи пояса с набором белой кости. Все в белых маленьких папахах. Все при деревянных кинжалах под серебро и золото.

Увидев на сцене казаков, публика так и ахнула от изумления. Раздались гром аплодисментов и крики: «Ура, ура, казаки!»

Аплодисменты продолжались несколько минут, а мы попали на сцену, и многие из нас даже не знали, что такое сцена. Но мы все стояли бодро, в положенной военной стойке «смирно». И нам инстинктивно передавалось чувство нашего руководителя и организатора перед всеми этими русскими: «Вот, мол, посмотрите, какие это казаки! Нравятся ли они вам? Тот-то оно и есть!» — Он гордился нами.

Вначале мы спели несколько строевых кубанских песен. Потом была декламация на патриотические темы. Декламировали

Белов, Медведев, я и Селезнев. В особенности всех потряс своею декламацией подхорунжий Алексей Дорофеевич Белов.

После перерыва была поставлена трагическая живая картина на смерть донских казаков в Петербурге во время подавления первого большевистского восстания в июле семнадцатого года.

Казачий спектакль окончился танцами, вначале «казачком», а потом «лезгинкой». Танцевало несколько человек, один за одним, один лучше другого. На сцене крик, гик — заразили всех. Что там было — описать невозможно, нужно быть там, чтобы все понять, пережить, ощутить.

Мы подняли нашего батьку на руки и вынесли в залу. «У-р-ра, ур-ра, ка-за-ки!» — кричали все. Дамы нас обнимали и целовали. «Ах, казачки, казачки! Да какие же вы все молодцы! Вы напомнили дорогую нашу родину!», — говорят они все, а у самих слезы на глазах от радости.

Так было приятно слышать столь ласковые слова да еще получать поцелун от таких высоких дам, к которым раньше казак боялся бы и подойти...

Окончание следует



С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ!

ВИКТОРУ ИВАНОВИЧУ ЛИХОНОСОВУ, выдающемуся русскому писателю, лауреату Госпремии РСФСР, 30 апреля исполнилось 55 лет.

Читателю хорошо известны его произведения «Брянские», «Чалдонки», «Люблю тебя светло», «Наш маленький Париж»....

Поздравляя писателя-земляка, редакция журнала «Кубань» желает ему новых ярких произведений во благо Отчизны и Литературы.

Петр Придиус

«ЗВЕЗДОПАД»*

ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА

КТО СКАЗАЛ «ДУРАК»?..

Как-то, возвращаясь с обеда, вижу, у нас в секторе оба Вити — помощник «первого» и наш Витя, Лебедев. Как журналисты они по сути были двойниками, словно близнецы-братья.

— А-а, пообедал, субчик-голубчик? Это ко мне.

— Не икалось? Случайно, не поперхнулся? В чем, говоришь, дело? Сергей Федорович тебя разыскивает..

Переглянулись. Не улыбаются. Знаю, оба склонны к подвоху. Но шутить именем самого?..

— Да бросьте вы, — говорю.

— Ты погляди на него — не верит,— ухмыльнулся один Витя.

— Ничего, через полчасика поверит, — резюмировал второй.

Вижу — на часах четырнадцать тридцать, в это время секретари обедают. Похоже на правду.

— А о чем,— спрашиваю,— разговор?

— Представь, дорогой,— отвечает Витя, тот, что помощник,— он нам не докладывает.

Потом наш Витя:

— О чем, о чем!.. Конечно, о нашем шефе. «Первопечатник» (так мы называли между собой директора краевого книжного издательства) был на приеме у первого, оставил «телегу»...

Наш Издатель — стройный, красивый, женщинам на загляденье, — страсть любил что-нибудь мастерить: шурупы ввинчивать, конверты клеить, бумагу разгружать. А свои познания в издательском деле ограничил минимумом: этого издавать, того не надо! Не без помощи разделил писателей на «своих» и «чужих», как в гражданскую войну — на белых да на красных. А что? Просто и, главное, удобно. За полтора десятка лет так и не усвоил фамилию прозаика: говорил «Пацюк» вместо «Панасюк».

В крайком Издатель приходил ежедневно, иногда по нескольку раз в день и по всяким-разным пустякам — с входящей и исходящей, с перемещением и назначением, изданием и переизданием, торможением. Дело порой выеденного яйца не стоило, а он: «Посоветуйте...»

Помню, пришел согласовать кандидатуру на должность младшего редактора: вот, дескать, вчера закончил институт мальчишка, талантливый, перспективный. Ну, говорим, бери себе на здоровье, если он такой талант. Мы-то здесь причем, в твоей же это компетенции.

Он:

— Да хочется ж через крайком...

Потом слух из издательства: взяли желторотого юнца по рекомендации крайкома. Так-то. Все ждали, когда Издатель придет кандидатуру уборщицы согласовывать. Над ним в открытую потешались, а с него, как с гуся вода, он, знай себе, продолжал свое. Кто-то даже уверял: бежал как-то Издатель в крайком за разрешением на «чих», спешил-спешил, нос зажав, потом не сдержался — чихнул и, повернувшись на сто восемьдесят, направился к себе: не донес...

В одиночку Издатель приходил в крайком редко-редко, все больше на пару с главным редактором, Максимычем. Этак идут гуськом, рослый директор и невысокий главный, Пат и Паташонок. Максимыч, седенький, мятый жизнью и партийной властью, потому очень осторожный, был грамотным, искушенным, разбирался в издательских делах профессионально. Так что «тандем» сложился не случайно. Обычно беседа с ним протекала до смешного оригинально, будто с переводчиком: спрашиваем «Первопечатника», он в свою очередь — Максимыча, тот отвечает, а Издатель слово в слово за ним, разве лишь с одним-единственным исключением — у Максимыча была привычка в трудных ситуациях изрекать: «Надо подумать», этот смело, со всей ответственностью переиначивал: «Мы подумаем. Мы напишем в Москву. Мы посоветуемся...»

Создалось впечатление, что Издатель всего на свете боится, такая крайняя неуверенность исходила от него. Бывало, что ни предложишь, соглашается: «Сделаем», «Заключим», «Напишем»... А потом выясняется: ничего этого он не делает, волынку тянет. Вызываем (приходит, конечно, с Максимычем!) «на ковер», воспитываем, он с раскаивающейся гримасой повторяет: «Сделаем», «Напишем»... Но проходит день, другой, третий, видим — дело ни с места. Я закипаю: «Трус, а не боится!», Виктор Петрович успокаивает:

— Ты лучше присмотрись, через

* Продолжение. Начало в № 2—3

чей кабинет уходит из крайкома «Первопечатник», да-да, я не шучу.

Лебедев действительно не шутил. У кого бы Издатель ни побывал в крайкоме, он, оказывается, уходил неизменно через кабинет помощника Медунова, но не через кабинет уже знакомого нам Виктора Андреевича, «двойника» нашего Лебедева, а второго, впрочем, вернее сказать, первого, главного помощника, назовем его Василием Петровичем. Тот сам был охоч печататься, кроме того, при внешней елейности, некоей таинственности обладал неимоверным запасом зависти и властолюбия. Таким образом, не сектор печати и даже не секретарь крайкома по идеологии фактически направляли издательскую деятельность, а помощник «первого», Василий Петрович. Таинственно указывая на дверь Сергея Федоровича, он от его имени мог одобрять, притормаживать, изменять, отменять... Поди проверь!

Вот и извивался ужом «Первопечатник», не снимая с лица страдальческой мины: и послать нас куда подальше с нашими указаниями не мог, и исполнить их либо не хотел, либо не позволяли «свыше». Счастье его, однако, состояло не только в том, что он чувствовал надежный тыл, но и в том, что принадлежал к категории людей, которые ничего близко к сердцу не принимают. Гоношись, сколько тебе угодно, шуми, угрожай, он знает свое: есть и повыше начальство!

Закончил «Первопечатник» хорошо: в шестьдесят пять ушел на персональную пенсию, свеженький, как огурчик.

Ну это я забежал вперед.

Итак, убедившись, что два Вити в самом деле не шутят и что через какието полчаса мне надо предстать перед самим Сергеем Федоровичем, я не додумался ни до чего более умного, как спросить Витю-помощника:

— Это что, надо быть в пиджаке, при галстуке?..— Пожав плечами, помощник по обыкновению съязвил:

— Ну, если ты думаешь распивать с Первым чай, мило беседовать, то иди расхристанный..

Тут я вынужден сослаться сразу на два обстоятельства. Во-первых, стояла сильная жара, это был июль или август семьдесят седьмого (год указываю намеренно, мы к нему еще вернемся). А во-вторых, в крайкоме существовал неписаный закон являться к руководству при полном параде, вне зависимости от погоды. Хоть умри, хоть сгори, но чтоб все честь по чести, иначе какой же это крайком? Рассказывали, что один первый секретарь райкома даже запретил своим сотрудникам появляться на работе в тенисках: что, мол, это за порядок — сидеть в безрукавках, какой пример для посетителей?..

Но лично я в тот день допустил промашку: переступив порог высокого кабинета в положенном наряде, что увидел? Сидит Медунов за столом в белой сорочке с расстегнутым воротником, пиджак и галстук на спинке стула поодаль. Ну, думаю, перещеголял!.. И галстук свой я ощутил удавкой.

Не вставая из-за стола (был наслышан: всегда встает, сама любезность) и, помнится, не отрываясь от просматриваемых бумаг, Медунов задал мне один-единственный вопрос, на который следовало тотчас, незамедлительно ответить, так как всякая оттяжка ставила под сомнение мою искренность. Вопрос был совершенно для меня неожиданный и в какой-то мере обескураживающий своей мелочностью, бытовой приземленностью. После моего короткого: «Нет, не слыхал» — Сергей Федорович вновь переспросил и, услышав в ответ то же самое, как-то безучастно распорядился: ну, хорошо, зайдите ко «второму», он этим занимается...

Кабинет второго секретаря крайкома, Степан Степаныча, располагался рядом, через зал заседаний, следовательно, и мог, выйдя в общий коридор, остановиться или пройтись по ковровой дорожке, собраться с мыслями, а может, и посоветоваться с кем-нибудь, допустим, с теми же Витями (умны и мудры, как черти!). Однако секретарша сразу жестом указала через плечо: Степан Степаныч ждет Вас с другой стороны.

Он — ждал. При моем появлении стремительно поднялся с кресла, пружинистой походкой пошел навстречу, весь такой сияющий, холеный, самодовольный. Было ему тогда лет сорок пять, карьера его складывалась на редкость удачно: никогда не был на первых ролях, но неуклонно поднимался вверх, как на дрожжах. Говорили, что умел угадывать желания и мысли первого в тот самый момент, когда они только зарождались. Еще говорили — умел дружить с Москвой...

Как бы там ни было, Степан Степаныч демонстрировал завидную активность. Настолько естественно, насколько позволяли рамки его должности. Он, похоже, очень тонко чувствовал грань, за которой начиналась прерогатива первого. Во всяком случае, все видели: Степан Степаныч ничего не предпринимал лично от своего имени, все только: «Сергей Федорович сказал». Его поручения он выполнял яро, яростно, без оглядки, не останавливаясь ни перед чем.

Обо всем этом я уже знал со слов других, теперь, выходит, предстояло самому стать объектом его яростного и безоглядного воздействия. Картинно остановившись на вытянутую руку напротив, Степан Степаныч забросил голову назад и, глядя в упор, задал тот же вопрос, что я минутой раньше слышал от Медунова: «Ну, так назвал он директора

издательства дураком? (под «он» имелся в виду наш Идеолог, секретарь крайкома). Не спеши, прошу тебя, сказать «нет», — на «ты» он перешел, конечно, неспроста, это и дураку было ясно: хотел показать свою расположенность, даже, если хотите, какое-то равенство, — подумай хорошенько. Ты присутствовал при том разговоре, ты не мог не слышать...»

Не отводя глаз под его пристальным взглядом, я сказал: «Нет, не слыхал». Сказал неправду. Ведь слыхал же я, слыхал. Солгав, я будто проглотил змею, до того сделалось противно, хотя подсознательно чувствовал свою правоту.

Между тем Степан Степаныч пригласил меня к боковому столу, на котором лежали схваченные скрепкой, отпечатанные на машинке страницы, наверное, штук семь-восемь, крайняя, но не первая, была сверху и снизу прикрыта чистыми листами, то есть остальной текст спрятан, а что виднелось, надлежало мне прочитать, не прикасаясь руками. Я сразу сообразил: «телега» «Первопечатника», многостраничная... Молча прочитал, там и упоминалось, что я был свидетелем, когда Идеолог обозвал Издателя дураком.

— Ну-с? — приподнялся на носках, пружиня ноги, Степан Степаныч.

— Не слышал,— отвечаю.

— Читай еще, — советует секретарь.

Читаю и вновь повторяю:

— Не слышал.

— Ну вот что,— заметно посуровел он,— пойдите к себе (перешел на «вы»), хорошо обдумайте все и напишите объяснительную, занесите ее лично мне, «без доклада», чем и с кем бы я ни был занят.

Нелегко далась мне та объяснительная.

...Хорошо помню тот вечер, когда Идеолог зачем-то пригласил меня к себе, зачем именно, теперь уже сказать затрудняюсь, но как сейчас помню: сидит у него Издатель (между прочим, без Максимыча), о чем-то беседуют, один упрекает, другой оправдывается, меня это нисколько не касалось, я то ли газеты на журнальном столике листал, то ли в окно за воробьями наблюдал (под лепным карнизом они круглый год вершили свои брачные дела!), обрывки фраз до меня, конечно, долетали, не без этого, в том числе и такая: «Слушай, ты жену свою перевел из издательства?» — «Нет», отвечает тот. «Ну и дурак!.. Лишние нарекания идут: жену премирует, от работы уберегает... Зачем это тебе? Не можешь место машинистки найти? Да я тебе завтра десять адресов назову, и оклад будет вдвое выше...»

Кажется, никто из нас троих не придал значения этому диалогу, и Издатель ушел совершенно нормально, без признаков обиды. Да и на что там, собственно, было обижаться? Ровесники, тыщу лет друг друга знают, при внешней несхожести, если основательно присмотреться, натуры родственные, наконец, сказано это самое «дурак» было беззлобно — по-дружески, как близкому человеку, ну, в общем, из самых добрых побуждений. Можно ведь и «мо-ло-дец» произнести так, что хуже «дурака» получится.

Издатель возвращался из крайкома привычным маршрутом, через известный кабинет, как всегда, выдал, наверное, полную информацию, и «там» не упустили случая зацепиться за этого «дурака», придав ему соответствующий логике оттенок: оскорбление, унижение, глумление, злоупотребление служебным положением и т. д. и т. п. На секретаря как раз в ту пору по крупицам собирали «компромат», короче говоря, «выжимали» из аппарата, и это «зернышко», в смысле «дурак», хорошо ложилось в общий ряд. Известно, дураков у нас на руководящие посты не выдвигают...

Кстати, в те же дни и точно так же, как меня, «исповедовали» еще одного ответработника, моего тезку, У-ча, из отдела науки, который присутствовал при телефонном разговоре секретаря крайкома с ректором одного института, и в том разговоре секретарь якобы дал ректору сомнительную установку относительно анкет социсследования, а тот (к слову сказать, в прошлом тоже партийный работник), учитывая конъюнктуру, сигнализировал «наверх». Правда, я тогда об этом инциденте не слыхал, не знал и того, что мой тезка держится точно так же, как и я, памятуя старинное: паны дерутся — у холопов чубы трясутся...

Что касается меня, то, конечно, чисто по-человечески можно было рассказать все, как видел и слышал, и гора с плеч. Правда есть правда! Да, но выше всякой правды — истина. Вот из-за нее-то я и не мог подтвердить услышанное. Не мог, прежде всего, потому, что в том злополучном слове, в том контексте заключен был совсем иной, не оскорбительный смысл. Это главное. Помимо того, мне представлялось неэтичным, унизительным участвовать в облаве на такую фигуру, как секретарь крайкома, работнику моего ранга.

Помнится, так и брякнул чрезмерно настойчивому Степан Степанычу.

— Но, а если завтра приедут из Москвы и предложат Вам написать что-нибудь подобное о Сергее Федоровиче?

— Что вы, что вы, — он аж вздрогнул, — давайте-ка без обобщений!..

И забраковал мою объяснительную, предложив назавтра поутру (опять-таки напрямую, без доклада) занести новую, где бы стояло: да, слышал...

Не скрою, ночь была тревожной: написать «да» совесть не позволяла, для меня это было тогда равносильно предательству, но, если по справедливости, и в слове «нет», в самом факте отрицания присутствовала доля неискренности, которую при желании можно истолковать, как преднамеренную ложь. Ведь если подходить чисто формально, то да, обозвал дураком (мой коллега сожалел: зря, мол, не добавил «круглый дурак»), однако принимать это всерьез — откровенная спекуляция. Скажите: разве не так?..

Вторую мою объяснительную, как и первую, Степан Степаныч, естественно, забраковал, хотя по стилю она выглядела куда более совершенной. Держа ее в двух пальцах на отлете, как змею, он негодовал: «Заладил — «не слышал, не слышал». Вас второй секретарь крайкома партии просит написать «слышал», просит, понимаете? Такое не каждый день бывает. Если на то пошло, не один я прошу... Вижу, вы недовольны докладной директора издательства, а я вам так скажу: сегодня вы над ним начальник, а завтра — он над вами... (в голове мелькнуло озорное: я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак...). Подумайте в конце концов о своем будущем...

Назначил новый срок — вечер.

Шел я от него, переиначивая мудрость древних: ты мне начальник, но истина дороже!

В моем распоряжении имелся целый день, подумать было когда и было о чем. Хотелось с кем-нибудь посоветоваться, но с кем? Звучит-то как нелепо — «с кем»? Когда вокруг столько умных, хороших и добрых товарищей. Но в партаппарате не принято так поступать: (просочится — несдобровать!), да и кто тебе советчик в такой деликатной ситуации? Поделился с Виктором Петровичем, он пожал плечами: «Думай своей головой, ду-у-май!»

К вечеру родилась совсем уж идеальная объяснительная, логичная и лаконичная, но с той же ненавистной начальству концовкой: «Нет, не слышал».

Степан Степаныч прочитал ее молча, вскинул на меня леденящий взгляд и сухо изрек:

— Мы думали о вас гораздо лучше... вы свободны...

Покидая его кабинет, я почему-то думал не о себе — какие все это может иметь последствия,— думал о нем: не выполнил ответственное поручение, не оправдал возлагавшихся надежд, что, по всей вероятности, редко с ним случалось, если случалось вообще.

Итак, кто сказал «дурак», доподлинно установить так и не удалось.

Невольно вспоминается еще одна довольно курьезная ситуация, опять-таки связанная с этим, простите, бессмертным «дураком». Как-то раз, не помню уж, раньше или позже того эпохального расследования, выведенный из терпения тем, что Первопечатник своими неразумными действиями все время поставлял нам все новых и новых жалобщиков, я задал Виктору Петровичу совершенно риторический вопрос: «И какой это дурак взял его на директора издательства?»

Виктор Петрович этак манерно улыбнулся, похлопывая себя в грудь: «Вот он, этот дурак?..»

— Н-да-а, — только и оставалось мне промолчать.

Еще не успели улечься одни страсти, как возникли новые, и, странное дело, пошли они по тому же кругу...

Прошло сколько-то лет, уже не было в живых Виктора Лебедева, а «Первопечатник» все продолжал свое — плодил жалобщиков («обеспечивал работой»!), и вот стоим как-то в коридоре с Виктором Андреевичем, помощником первого, видим, порхнул в дверь к его коллеге Издатель с очередной негативкой либо за новым провокационным поручением. Я и пересказал Виктору Андреевичу тот наш давний разговор с Лебедевым относительно дурака, который брал «Первопечатника» из «районки».

— Да? — изумился помощник. — Это Витя, пожалуй, много на себя взял, сказав так. «Первопечатника» на издательство выдвигал я, так что, считай, ты нас обоих обозвал дураками.

Мне только оставалось развести руками.

А тогда... Тогда еще не успели улечься одни страсти, как возникли новые, и, странное дело, пошли они по тому же кругу...

А началось все с рядового вызова к Идеологу. Надо спасать положение, сказал он и изложил суть дела. Издатель уволил одного младшего редактора, некоего Ривольда, тот не с тем делом запросился за границу, бомбардирует Москву: отпустите.

— Ну и пусть,— говорю,— едет, зачем нам такой редактор?

— Как бы не так,— оборвал меня секретарь.— Знаешь, кто такой Ривольд? Не знаешь? То-то и оно. Свояк Б-ва (называет известную в крае фамилию), они женаты на родных сестрах, гречанках, да к тому же этот Ривольд прошел Крым, Рим и медные трубы...

Что он прошел, я и сам мало-мальски знал. Одно время состоял этот Ривольд в партии, был исключен, сидел... Все это происходило где-то на Украине или в Прибалтике. Говорят, не без содействия влиятельного свояка устроился в издательство, и здесь ему с благоволения «Первопечатника», державшего нос на Б-ва, была предоставлена вольная вольница, короче: имея собственную автомашину, младший редактор исполнял не столько редакторские, сколько экспедиторские функции. Регулярно объявлялся в колхозах и совхозах с мандатом книжного издательства, выписывал дефицитный харч — в неограниченном количестве, по самым, разумеется, низким

ценам. Длилось это годами, потом директор и редактор-экспедитор на чем-то не сошлись, и дружба между ними кончилась полным крахом, то есть насильственным увольнением старшим младшего.

Тут нельзя не упомянуть о принципах так называемой кадровой политики Издателя. Несмотря на то, что по каждому поводу бегал он на согласования в крайком, чтоб потом козырнуть перед подчиненными: «крайком рекомендовал» или: «крайком возражает», он вместе с тем имел слабость почти каждый год кого-либо увольнять и делал это настолько неаккуратно, что почти каждое увольнение проходило через народный суд, со скандалом, с мобилизацией общественного мнения. Поговаривали, будто в свой мизерный коллектив из пятнадцати — двадцати человек директор намеревался включить штатного юриста. Очередной жертвой директора стал его приближенный Ривольд, человек с типично украинской фамилией, который воспылал вдруг любовью к Греции, хотя жена-гречанка категорически отказалась ехать с ним в страну своих предков.

Мне выпала трудная миссия «спасать положение» как раз в тот момент, когда Ривольд только-только получил после долгих и настойчивых усилий разрешение на выезд за границу. Он уже упаковал чемоданы, а тут я со своими душеспасительными беседами. Первый раз мы встретились с ним на «нейтральной территории», так как у него, по его словам, была аллергия на крайком, затем несколько дней кряду приходил ко мне в сектор, и мы беседовали, рассматривали, читали письма. В конечном счете мне удалось уговорить, разагитировать Ривольда, и, честное слово, вовсе не потому, что я обладаю какими-то особыми талантами на этот счет, нет. Хотя, надо сказать, человек этот с весьма сложным характером, упрямый, себе на уме, теоретически подкован, хитер и агрессивен, спорить с ним было нелегко, а спорить приходилось по всякому поводу, и он, как говорится, цеплялся за каждое слово, толковал его на свой лад, при этом во многом в общем-то был прав. И все-таки мне удалось, повторяю, разубедить его, вырвать согласие отказаться от выезда за границу.

Кажется, мои доводы несколько протрезвили новоявленного диссидента, и он согласился отозвать свое заявление, фактически уже удовлетворенное. Условием же поставил немедленное восстановление его на работе в прежней должности, то есть младшим редактором, что показалось нам сущим пустяком, с чем согласились и секретарь крайкома, и приглашенный по этому случаю Издатель. Последний, прибыв с неизменным Максимычем, поразился: «Как вам удалось уговорить этого упрямца. Мы все в издательстве так рады этому, так рады, спасибо вам...»

Как мы того и хотели, Ривольд отправился давать телеграмму в Москву о своем отказе на выезд, а Издатель — писать приказ о восстановлении его на работе.

Сказать по правде, где-то в глубине души шевельнулся у меня червячок честолюбия: крепкий же орешек раскусил! Отвел беду от Б-ва, а значит, и от крайкома. Однако маленькая, будничная радость моя оказалась преждевременной: буквально на следующий день разъяренный Ривольд ворвался в кабинет и с порога заорал: лжец, лицемер, провокатор!

Подумалось — пьяный? Нет, гляжу, в своем уме. И тут я услыхал невероятное: Издатель отказался написать приказ о восстановлении. Как? Почему? Кто позволил?

Звоню в издательство, отвечают: в крайкоме. Наводим справки здесь, выясняется — в теневом кабинете, у помощника... Ах, вон оно что, трусливый Издатель проигнорировал идеологов. Сутки не отвечал на телефонные звонки, не заявлялся в сектор, пока не завертелись верхние жернова...

Назавтра меня вызвал к себе Медунов.

Не могу за давностью времени воспроизвести тот разговор дословно. Впрочем, то скорее не разговор был, а монолог, который выглядел примерно так: это ж какой дурак поручил вам отговаривать от выезда отщепенца? Скатертью ему дорога. Пусть убирается ваш Ривольд или Ринальд. Проживем без них... Подумайте сами: что эти потребители дают обществу? Ничего. Только воду мутят. А вы их защищаете, вместо того чтоб идеологией заниматься, быть среди людей. Зачем она нам, эта червоточина? Нет, не в те колокола вы звоните, не в те!..

Немного помолчав, уточнил: ну, вы на свой счет сказанное не принимайте, вам, конечно, поручили, и вы обязаны... Но он-то почему такие вопросы в обход бюро решает? Почему не информирует?

Спохватившись, что вопросы не по адресу, снова уточнил: не обижайтесь, вашей вины тут нет.

Чувствовалось, разговор подходит к концу, я счел нужным напомнить: вы в курсе, Сергей Федорович, чей он родственник? Наверняка располагает информацией, может навредить...

Знаю знаю, опередил меня Медунов, пусть вредит — пишет, дает интервью... Мы никого не боимся. Собака лает, ветер носит...

На том моя аудиенция у первого закончилась.

Продолжение следует

Повествователь казачьего лихолетья



НА СНИМКЕ: Д. Е. Скобцов, Екатеринодар, 1920 г.

С этого номера «Кубань» начинает публиковать «Три года революции и гражданской войны на Кубани» Даниила Ермолаевича Скобцова (1884—1968). Автор этого фундаментального труда — наш земляк, казак-линеец — получил историко-филологическое образование в Московском университете. В годы 1-й мировой войны за храбрость и мужество Скобцов был награжден Георгиевским крестом и «Золотым оружием». Как русский патриот он, конечно, не принял изуверскую программу превращения «войны империалистической в войну гражданскую» и первый акт ее реализации — Октябрьский переворот.

Эмигрировал в составе комиссии по охране казачьих знамен и реликвий.

Книга «Три года революции и гражданской войны на Кубани» создавалась с 1925 по 1929 год. Скобцов полагался не только на свои знания и память, но и обращался к самым разным источникам — от мемуаров, «Очерков Русской Смуты» генерала Деникина, прежде всего, до исследований об этой величайшей трагедии.

Не идеализируя ни одно из движений антибольшевистской коалиции, автор попытался показать их изнутри, делая особый акцент на том, что помешало общему успеху, что обеспечило в конце концов победу «фантазерам из Смольного». Это, прежде всего, неумение, а нередко и нежелание многих лидеров, например, А. Деникина, П. Краснова, Л. Быча, стать выше партийных — «линейных», «черноморских», «добровольческих» и других — интересов. Поэтому столь значительным кажется Д. Скобцову признание Л. Быча: «Мы съедаем друг друга... Мы импотенты»...

Конечно, в книге содержатся характеристики и оценки как отдельным деятелям, так и фактам, историческим событиям, которые требуют корректировки, либо полного неприятия. Так, суждения Скобцова, например, о В. Шульгине страдают демократическим предубеждением, схематизмом, непониманием этой ярчайшей личности.

Очень многие проблемы времен гражданской войны звучат наисовременно, нам просто необходимо учитывать сегодня опыт, во многом негативный, их решения. Интересными представляются вопросы о делегировании прав автономиями, ведении переговоров между различными регионами. Так, диалог между большевистской Россией и Украиной очень напоминает межреспубликанскую деятельность нынешнего российского парламента. И дело не в том, что из сорока семи членов «русской» делегации тридцать восемь были, по словам Скобцова, еврейского происхождения и возглавлял ее румынский еврей Христиан Раковский, а в том, что и в 1918-м, и в 1991-м судьбу России решают люди, во многом духовно и культурно ей чуждые.

Юрий БОЛОТОВ.

Даниил Скобцов

ТРИ ГОДА РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА КУБАНИ

От комиссара Временного правительства, члена Государственной думы от казаков К. Л. Бардижа пришло предложение провести выборы уполномоченных на общеобластной Съезд по одному от пяти тысяч жителей казаков и иногородних. Дата выборов определялась — 13 апреля, сколько помнится, на второй день Пасхи. Съезд должен был состояться в Екатеринодаре 22 апреля. (Обе даты по новому стилю).

В праздничный день после полудня всю обширную площадь перед «старой» — главной в станице — церковью запрудил народ. Добрую половину избирателей составляли женщины, разряженные по-праздничному. Казачки и солдатки за время войны привыкли ходить в станичное правление за военным «способием» (установленным пайком).

В центре добротно устроены подмостки, на них — стол, покрытый красным сукном, чернильница, листы бумаги, карандаши.

Как будто нехотя, с миной озабоченности и недоумения, поднялся на «трибуну» станичный атаман. К большому моему удивлению, это был знакомый еще по годам моего мальчишеского хождения в станичную школу атаман из вахмистров одной из кубанских казачьих батарей. Несколько больше побагровел орлиный нос Трофима Андреевича, не по нем роль атамана революционного времени. Но молодежь на фронте. Выборными на станичный сбор ходили старики. Они и извлекли из тьмы забвения своего молодецкого когда-то батарейца.

Не без запинки «вычитал» атаман распоряжение комиссара о выборах уполномоченных — «всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием» — и предложил прежде всего избрать председателя и секретаря собрания, обнаруживая явное стремление самому отойти на второй план. Но «народ» пожелал именно его видеть на месте председателя, а секретарем С. И. Щ-ва, из молодых учителей, когда-то я его подготовлял ко вступительным экзаменам в учительскую семинарию.

Последовал довольно длительный период неразберихи и споров, как произвести «тайное» голосование. Процедура писания записок никому не улыбалась, а катать шары, — где их столько набрать?.. «Всеобщее, равное, прямое» поперводначалу как будто сомнений и споров не вызывало, — голосуют все собравшиеся станичники, каждый за себя и только по одному голосу. Но как это сделать тайно при открытой огромной площади, заполненной народом?. От кого беречься?..

Порешили: названный кандидат отвернется лицом к церкви и не всех увидит, кто голосует против него. Между трибуной и церковной оградой было наименьшее пространство, голосующие могли потесниться в стороны.

Но как только приступили к подсчету голосующих за первого названного кандидата, тут все и поняли, что главное затруднение совсем не в том, куда «отвернуться». Подсчет длительный, а скоро с трибуны его не произвести, а нетерпеливые избиратели, особенно избирательницы, беспрестанно перемещаются от одной группы людей к другой, где показался кто-либо из добрых знакомых. Трофим Андреевич начал явно терять голову. Пришлось мне выступить с предложением разбиться всем собравшимся на секторы, между последними установить достаточно широкие промежутки со строгим обязательством для избирателей не переступать эти промежутки во время подсчета. Для обеспечения порядка выделить прежде всего приставов-добровольцев для наблюдения за этим, а также достаточное количество счетчиков. Добровольцы на эти должности сейчас же нашлись, пристава вооружились хворостинами, дело наладилось. Атаман повеселел.

— Скажи на милость, — какая простая механика...

От станицы в 20 000 душ населения, приблизительно поровну казаков и иногородних (не казаков), надлежало избирать двух депутатов-казаков и столько же иногородних.

По некоторым причинам (главным образом вследствие длительной и серьезной болезни) я немало лет в станице совсем не показывался, но тут неожиданно для себя был избран подавляющим числом голосов. В товарищи мне от казаков был избран прибывший «ходить» от станицы «депутатом» в областной центр по разным поручениям Ф. А. К-в. От иногородних были избраны: один по профессии — кузнец, другой — мирошник водяной мельницы.

Никакого «наказа» нам избиратели не дали. Солнце уже склонилось к западу. Ограничились общей директивой:

— Смотрите там, как лучше...

В эти же дни я съездил в г. Армавир, торгово-промышленный и административный центр нашего Лабинского отдела, и познакомился с его атаманом, тогда полковником А. П. Филимоновым, впоследствии нашим первым, после революции, выборным Войсковым атаманом.

В молодости офицер-кавалерист, окончивший затем военно-юридическую академию, военный юрист (не уклонившийся в свое время от обязанности «казенного» защитника Марии Спиридоновой, а также и казаков-артиллеристов Кубанской батареи, отказавшийся выполнить боевой приказ в связи с усмирением Урупского полка). На посту атамана отдела он стяжал славу незаурядного администратора. Но у меня при свидании получилось не особенно благоприятное от него впечатление. По возрасту он годился мне в отцы. Не поинтересовавшись моим взглядом на создавшуюся революционную обстановку, он с первого слова принялся меня как бы наставлять, каким путем следовало идти казачьим представителям. От беседы с ним у меня осталось впечатление, что сам он не усвоил, какой размах принимала революция. На областной Съезд, на который он тоже должен был ехать, он смотрел скорее лишь как на оздоровляющую демонстрацию казачьих чувств по отношению к остальной части населения области.

В Екатеринодаре мы, уполномоченные представители Кубани, встретились с любопытным напластованием областных властей за сравнительно короткий срок революции.

Последним старорежимным начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска был генерал-лейтенант М. П. Бабич.

Старая всероссийская власть, отменив институт выборных войсковых атаманов — былое казачье обыкновение, — стала назначать в течение последующих десятилетий не «ВОЙСКОВЫХ», а «НАКАЗНЫХ» атаманов и, как правило, не из казаков, а вообще из общероссийских генералов. Для Бабича, природного кубанского казака, было сделано исключение. Во время волнений 1905 года он, в должности военного генерал-губернатора Карской области, показал себя «решительным администратором» и тем снискал себе доверие верховной власти.

...Талантливый фельетонист А. Яблоновский обмолвился тогда в отделе «Родные картинки» столичного толстого журнала «Образование» остроумным сравнением: «Назначить генерала Бабича управлять Кубанью в наши дни все равно, что послать разъяренного быка в летний жаркий день в посудный магазин мух выгонять...»

Однако те, кто ближе знал М. П. Бабича в семейном быту, рассказывали, что он был довольно мирный старик, любивший потолковать о казачьей старине, полакомиться «простонародной» ягодой тутой и т. п.

...За время длительного управления Кубанью у кубанского казака Бабича не установилось связи с подначальными ему земляками, и как только в Екатеринодар пришли вести о коренной перемене в Петрограде, он оставил дворец кубанского атамана и отправился искать укрытия на группу Кавказских Минеральных Вод.

Исполнять обязанности начальника области после Бабича стал старший советник областного правления, а по должности наказного атамана Бабича заменил начальник Войскового штаба, при первом из этих заместителей осталось действующим областное правление со всем штатом своих чиновников, а при втором — управление Войскового штаба со штатом штабных офицеров, делопроизводителей и пр., но их проявление власти было самым скромным и осторожным.

Местная революционная демократия косым взглядом взглянула на эти «старые притоны реакции», но К. Л. Бардиж — комиссар — все же понимал, что без налаженного административного аппарата нельзя обходиться при управлении областью. Чиновников пока что терпели.

Сама революционная демократия натворила немало своих новых «притонов» власти, говорливых, шумливых, со многими благими порывами, но с малыми способностями к практическому администрированию.

Возник Екатеринодарский городской революционный Совет, объединивший активную интеллигенцию — городскую думу и городские революционные организации. Этот городской революционный Совет выделил из себя ряд лиц, которым поручил путем кооптации образовать областной Исполнительный комитет.

...Отмеченные самотеком возникавшие революционные Советы и Комитет, а при них неизбежные уполномоченные, претендовавшие на право распоряжения в области, составили второй пласт властей ко времени нашего прибытия в Екатеринодар.

Всероссийское Временное правительство прислало в область комиссаров, сразу двоих членов Государственной думы — от казаков К. Л. Бардижа и от иногородних Кубани и населения Черноморской губернии — Н. Н. Николаева.

Было бы, конечно, благоразумнее прислать только одного комиссара и оказать ему полное доверие...

Комиссары Временного правительства со своими канцеляриями и адъютантами составили третий пласт властей ко времени нашего прибытия в Екатеринодар.

Для К. Л. Бардижа, в прошлом казачьего отставного есаула, десятилетнее сидение в стенах Таврического дворца в качестве депутата не прошло бесследно, кое-что от тамошних государственных размышлений у него осталось. Идея обратиться теперь же непосредственно к населению области с предложением избрать своих уполномоченных для организации областной власти была правильной идеей: самотек по образованию властей нужно было прекратить.

К нашему приезду в Екатеринодар он уже носился с проектом штатов «кубанской народной стражи». С первого дня революции одиозный полицейский «крючок» исчез с городских улиц, но без наблюдателей порядка благоустроенность невозможна. Проект народной стражи отвечал на запрос дня, чего-то Кондратию Лукичу недоставало, чтобы неукосительно осуществлять свои проекты. Непопулярность в революции кадетской партии, верным членом которой он все время оставался, много ему теперь вредила.

К тому же получили огласку какие-то земельные недоразумения у него с хуторянами-субарендаторами. Неосторожный жест комиссара с требованием где-то на железнодорожной станции специального паровоза для спешного выезда к месту возникших непорядков дал пищу для газетного шума, будто бы о «возврате произвола» Бабича и т. д.

Комиссар Н. Н. Николаев, тоже кадет по партийной принадлежности, отличался странным свойством множить вокруг себя всяческую сумятицу. А после резких недоразумений и даже конфликтов с местными рабочими организациями он ушел в отставку, и на его место всероссийское Временное правительство позже назначило своим комиссаром доктора Н. С. Долгополова.

Число съехавшихся в апреле в Екатеринодар уполномоченных достигало 1000 человек. Кроме избранных от населения станиц, городов, сел, аулов и пр. явились представители еще учреждений — старых и новых: отдельных управлений, комитетов, советов и пр.

Явились со своими мандатами уполномоченные воинских частей, преимущественно тыловых, или это были отставшие и вообще почему-либо задержавшиеся в отпуску и получившие полномочия «по телеграфу».

В смысле уровня общественной квалификации съезд включил в себя бывших членов Государственной думы, кроме Бардижа с Николаевым, еще Кудрявцева, Морева, Ширского, Долгополова, Щербину и др.

Оказались тут и лица, приобретшие ту или иную известность на административных и общественных постах, как Скидан, Филимонов и др.

В массе были учителя, из них же прапорщики, хорунжие и другие офицеры производства военного времени. Были доктора, ветеринары, фельдшера и пр.

Две-три женщины явились уполномоченными от населенных пунктов.

Основную массу народных уполномоченных составляли, однако, от казаков хлеборобы, из них много бывших и настоящих станичных и хуторских атаманов.

Многоразличные органы революционной власти не подумали об удобствах размещения многоликого выборного «хозяина земли кубанской». К тому же затянувшаяся война наложила свой отпечаток общего упадка на внешний облик города; многие здания были раньше реквизированы под лазареты, под всякого рода продовольственные, военно-промышленные и другие комитеты.

Для размещения съехавшихся депутатов оставались лишь полуподвальные помещения да во время пасхальных вакаций свободные школьные здания и т. д. В этих импровизированных общежитиях уполномоченным пришлось уплотняться до последнего предела. О поддержании в них правил внутреннего распорядка не могло быть и речи. По ночам одни собирались засыпать, когда другие просыпались или приходили с запоздалых прогулок. При общем гвалте трудно было сосредоточиться, поразмыслить о подлежащих рассмотрению вопросах.

И под общие заседания Съезда был отведен малоудобный кинематографический зал, узкой полосой вытянувшийся от тыловой стороны двора к выходу на Красную улицу.

Комиссии же Съезда были принуждены кочевать по городу, выискивая для каждого данного случая свободное помещение.

Рассаживались депутаты в зале заседаний по отделам, то есть по фракциям чисто географического значения.

Преобладавшее настроение съехавшихся можно было определить как вообще агрессивное в отношении представителей многоразличной исполнительной власти. Всякая попытка (со стороны последних), которую можно было заподозрить в желании «руководить», прерывалась в корне:

— Исполнительная власть да подчинится законодательной.

Жертвой превратностей судьбы оставался на съезде комиссар Временного правительства К. Л. Бардиж. Ему то не давали возможность говорить, то дело доходило до неумеренных оваций: на руках выносили из собрания под крики «ура».

Как правило, наблюдалось, что неумеренная лесть «суверенному народу» только в исключительных случаях вызывала насмешку, вообще же принималась благосклонно. Тон же наздания или какого-либо намека на былые заслуги кого-либо в прошлом не выносился:

— Долой! Довольно...

Немало времени Съезд потратил на выслушивание приветствий и на другие неизбежные тогда доказательства «праздника революции».

При наименьших разноречиях прошел вопрос об отношении к войне. Всеми она воспринималась как явление, находящееся вне воли людей, во всяком случае вне воли этих людей, которые собрались здесь в кинематографе; все желали ее скорейшего окончания, но пораженческих тенденций не было ни среди казаков, ни среди иногородних. Население исправно несло ее тяготы. Съездом

была вынесена резолюция о войне «до почетного мира».

Основным для Съезда оказывался вопрос об организации временного, но общего самоуправления областью. Все знали, что всероссийское Временное правительство занимается делом созыва всероссийского Учредительного собрания, потом, следовательно, должны прийти обязательные общие директивы, но сейчас нужно здесь — в области, в крае — освободиться от многоразличия властей.

Заседания комиссии по самоуправлению превращались чуть ли не в пленум Съезда. Прения разворачивались во всю ширь. Ораторы партийные, ораторы от городов и, конечно, от «земли» — казаков и иногородних.

В комиссию «по самоуправлению» был внесен доктором Н. С. Долгополовым особый проект временного положения об «Областном самоуправлении» на Кубани. Собственно, ничего особенно мудреного он не предложил. Исполнительный орган по его временному положению для области тот же Исполнительный комитет, законодательный — областной Совет, но члены того и другого органа попадают в него не самотеком, а избираются тут же на Съезде от вышеотмеченных территориальных групп — отделов (округов) в комитет — по одному казаку и одному иногороднему от каждого отдела, в Совет — число избираемых членов было поставлено в зависимости от числа общего населения каждого отдела. Горцы, особая часть населения, избирались особо, своей горской фракцией. Общее число депутатов областного Совета определялось что-то около 90 человек.

В проекте предусматривался контакт работы народной выборной власти с представителем в области центральной государственной власти — комиссаром всероссийского Временного правительства.

Проекту нельзя было отказать в некоторой стройности, но его недостатком была прежде всего рыхлость исполнительного органа, куда попадали члены не по признаку работоспособности, но по признаку представительства групп. Внесенные затем поправки комиссией еще усилили эту нецелесообразность проекта и превратили Исполнительный комитет как бы в особый вид «верхней палаты», где, помимо представителей от Съезда, должны были заседать еще представители революционных организаций, а первую голову, конечно, Совета рабочих и солдатских депутатов. Чтобы сохранить принцип паритета казачьей части Съезда, было предоставлено право послать в областной Комитет по одному представителю от «отдела», то есть еще семь представителей. Другими словами, исполнительный орган распухал до размеров обычной тогда «говорильни».

Но основная слабость долгополовского проекта, рассмотренного в конце концов в комиссии и проведенного через пленум Съезда, не в этой, только что отмеченной рыхлости его правящих органов...

Вообще говоря, казачьи земли — края — были освоены в стародавние времена не в порядке промысла и попечения о них центральной государственной власти (Московского государства), а, по преимуществу, в порядке самостоятельного освоения «дикого поля» поперво-началу небольшими ватагами с доверенными ватажками — атаманами — во главе, разросшимися потом в военно-хозяйственные крупные объединения — казачьи войска: Запорожское, Донское и др.

Кровью многих казачьих поколений эти земли были политы до появления здесь агентов центральной власти Московского государства, которые присылались сюда с неизбежным заданием ущемить, а, если можно, придавить.

«Живи, казак, пока Москва не знает, Москва узнает — плохо будет» — вот какая поговорка становилась житейским правилом в казачьих кругах, хотя и сознавалась взаимная обоюдная выгода от наличия за казачьей спиной такого однозычного и единоверного государственного массива как Москва.

— Здравствуй, русский царь, в Кременной Москве, а мы, казаки, на Тихом Дону...

На Кубани, занятой попервоначалу черноморскими казаками (бывшими «запорожцами»), массовый наплыв торговцев, мастеровых, рабочих, просто сельского населения из разных концов России появился лишь во второй половине 19-го века после замирения Кавказа. Приходили с «пачпортами» от своих волостей, за которыми продолжали числиться в смысле отбывания воинской и других государственных и общинных повинностей. Вот именно эти-то новоселы в казачьих областях и стали так называемыми «иногородними», численность их ко времени революции, прибавляя к этому население городов Екатеринодара, Новочеркасска, Ростова и других, начинала достигать численности самого казачьего населения.

И вот даже старое царское правительство, стремившееся всех «привести к одному знаменателю», — все государственное население, — даже оно в отношении казаков соблюдало осторожность. Известно, что каждое новое царствование сопровождалось выдачей казачьим войскам особых ГРАМОТ, в коих торжественно подтверждались незыблемые права казачества (фактически, впрочем, всегда с большими очередными урезками).

Многовековая история казачества содержит не один драматический момент, когда оно открыто выступало на защиту своих, попираемых сверху, прав.

Воспринимая революцию как освобож-

дение от старой несправедливости в отношении себя, оно отнюдь не намерено было теперь терять с такими жертвами спасенные от самодержавия свои права. Оно их стремилось, наоборот, восстановить и даже расширять. Крестьянству оно желало того же, что и себе, но там, откуда пришло оно.

В долгополовском проекте не была соблюдена необходимая осторожность в этом отношении.

В нем, по образному выражению ловко пущенной демагогии, казачество было низведено в «примечание».

И действительно, в проекте Долгополова говорилось о праве казаков на заведование своим войсковым имуществом и вообще о ведении казаками своих дел, но не в самостоятельных статьях положения об областном Совете и Комитете, а лишь в примечаниях к ним. Правда, в этих «примечаниях» все же было декларировано, что казачьи части областного Комитета и областного Совета «могли» называться соответственно «Войсковым правительством» и «Войсковым Советом», но это казакам удовлетворения не давало.

Кое-как, однако, с недомолвками, с перегибамя в ту или другую сторону комиссия по временному областному самоуправлению свою работу закончила и провела ее через пленум Съезда. Она ничего не успела сделать в отношении управления отделами (округами) и станичными, и сельскими обществами.

Другие комиссии Съезда дальше отдельных резолюций общего свойства не пошли.

От иногородней части земельной комиссии поступила, между прочим, резолюция-декларация, свидетельствовавшая, что «кубанские иногородние отнюдь не посягают на земли казаков».

Выборы в областной Совет и в Комитет в некоторых отделах прошли довольно бурно. В Екатеринодарском отделе быля забаллотированы и Скидан (казак), и Долгополов (иногородний). Им отомстили за то, что они «загнали казаков в примечание»: Долгополов как автор устава, а Скидан как председатель пленума Съезда. Впрочем, кооператоры Кавказского отдела, не желая в дальнейшем лишить последующую общественную работу содействяя таких опытных общественных работников, провели их в Комитет по своему Кавказскому отделу.

Утвердив выборы и проголосовав резолюции, общеобластной Съезд закрылся.

На другой день после закрытия Съезда в том же помещении собралась казачья часть его — официально для избрания установленного Съездом дополнительного числа членов Исполнительного комитета от казаков, как было постановлено Съездом. (См. выше о составе Исполнительного комитета).

Но, собравшись, казаки не захотели ограничиться исполнением лишь этой задачи.

Они объявили себя «Кубанской Войсковой Радой», избрали особый ее президиум (во главе, впрочем, все с тем же В. В. Скиданом), образовали те же комиссии, что были на Съезде, но прибавили к ним еще комиссию по казачьему самоуправлению, председателем которой был избран И. Л. Макаренко и заседания которой сразу же приняли в какой-то степени секретный характер. К самому Макаренко и его сотрудникам по комиссии — количественно еще совсем немногим — прилипла кличка «ура-казаков». В связи с полуконспиративностью и видимой большой хлопотливостью работа этой комиссии начала вызывать сомнения, как бы на плечи казачества не была бы взвалена ответственность за нарушение добровольно принятых на Съезде общих решений.

Тогда была создана комиссия по общему самоуправлению, председателем которой был избран я и которая подчеркнуто приняла за руководство правило:

— Всуе законы писать, если их не исполнять.

Исходя из этого правила, моя комиссия повела работу тоже ускоренным темпом к тому, чтобы путем частичных поправок и дополнений, не противоречащих общему духу постановлений Съезда, сделать временное положение об управлении Кубанской областью более приемлемым и для казачества и уменьшить таким образом сопротивляемость в процессе вхождения его в жизнь.

Так как даже сам Съезд не предназначал долгого срока действию своих «временных положений», то моя комиссия установила, что вопрос о пересмотре и исправлении «положений» может быть поднят уже осенью того же, 1917 года, к каковому сроку должны быть вновь собраны общеобластной Съезд и Войсковая Рада.

Брат И. Л. Макаренко состоял членом моей комиссии и долго и упорно развивал мысль, что на Кубани действительным и неоспоримым хозяином является Кубанское казачье войско, что мы — Войсковая Рада — правомочны решать все вопросы, касающиеся жизни в области.

Охотников оспаривать его положения в комиссии не находилось, но тем не менее возобладало мнение лояльности в отношении общих решений Съезда, и даже сам П. Л. Макаренко согласился быть моим содокладчиком на Раде постановлений нашей комиссии.

Уже на следующий день с утра Рада приступила к заслушиванию наших решений. В. В. Скидан, вполне сочувствовавший нам, повел лично заседание, и депутаты единодушно, без задержки принялись голосовать в пользу наших предложений. Еще полчаса — час занятий Рады,

и вся старательная конспирация Ивана Макаренко могла бы остаться втуне. Но кто-то дал им знать, что происходит в Раде. С шумом ворвались в залу члены забытой комиссии и по узкому проходу между стенкой и стульями устремились к эстраде.

— Я прошу слова, — еще на ходу заявил И. Л. Макаренко, обращаясь к председателю. Но даже и ему не дали приблизиться к кафедре, из-за него выскочил некий подхорунжий М-а и, буквально столкнув меня с кафедры, занял ее и «благим матом» завопил:

— Погы-бло козацтво!..

И сам тут же разрыдался...

Рада оцепенела. В самом деле, что же произошло?!

Очень нервного подхорунжего свели с кафедры. Ее попеременно стали занимать «ура-казаки» и мы. Доводы их не отличались убедительностью, но их шумное выступление все же произвело на Войсковую Раду впечатление.

Был объявлен перерыв до следующего утра. Инцидент был подвергнут обсуждению в отдельских совещаниях. А на другой день Рада, по предложению Кавказского отдела, постановила «принятые уже решения оставить в силе», но дальнейшее рассмотрение вопросов об общем самоуправлении отложить до осени. «Ура-казаки» получили еще реванш: по их настоянию Войсковая Рада постановила усилить свое представительство еще семью кандидатами к членам Войскового правительства — как бы резервом на всякий случай.

Рядовые члены Рады, хозяйственники, спешили разъезжаться. Подходившие сроки неотложных полевых работ звали хлеборобов в станицы. Незаконченные труды комиссий поступили как материалы в Войсковое правительство и в Войсковой Совет по принадлежности.

Для завершения своей правящей организации Войсковой Совет избрал семь членов войскового контроля; я был избран на должность его секретаря.

Как незначительный эпизод прошел в Раде вопрос о посылке своих делегатов на Съезд в Петроград, созывавшийся «Союзом Казачьих Войск», организацией, возникшей в порядке «революционной инициативы» петроградского студенческого казачьего землячества, шумно заявлявшего о себе в острые моменты кризисов Временного правительства и всяческих в нем персональных осложнений — А. Ф. Керенского, генерала Корнилова и др. Очень важно здесь отметить, что, приняв приглашение Временного совета этого «Союза» прислать в Петроград на их Съезд 1—13 июня 1917 года своих делегатов, Рада не дала им полномочий принимать те или другие ответственные решения от имени Рады; посылала она туда их лишь с целью осведомления.

Среди других туда поехали от Рады П. Л. Макаренко и И. С. Коробкин.

На предварительном своем съезде 23—28 марта в Петрограде же эта организация рекламировала себя как единственную, выражающую «действительные интересы и взгляды Казачьих Войск». Такая самореклама не соответствовала частному почину ее возникновения.

Завершение работы Войсковой Рады произошло более празднично, чем разъезд общеобластного Съезда. Был устроен вечер-концерт с участием прекрасного войскового хора.

Между прочим, на этом вечере ко мне подсел И. Л. Макаренко и не без горечи спросил:

— Неужели так далеко разошлись наши пути?!..

Случая единства наших общественно-политических взглядов до встречи здесь, на Раде, у нас, собственно, и не было. Но смысл горечи в его вопросе заключался, очевидно, в том, что как я, так и он, как и большинство моих и его друзей, мы сошли в свое время с одной и той же школьной скамьи Кубанской (старейшей) учительской семинарии, все мы — дети «сиромы» казачьей, немногим из нас удалось пробиться к университетскому или к какому другому виду повышенного образования, но все мы вскормлены-вспоены Кубанью, и вот при первой пореволюционной встрече такая явная развилка наших путей. От них, «ура-казаков» апрельской Войсковой Рады, пойдут потом течения «самостийного уклона», в смысле общеполитическом всегда более консервативного. Мы же всегда сторонники единства российского и, по преимуществу, более радикального переустройства общественно-краевой жизни. (По возрасту И. Л. Макаренко был года на два старше меня).

На 10 мая того же 1917 года было назначено начало работ Кубанского Исполнительного комитета и Кубанского Войскового правительства с войсковым контролем.

Организационный период в Исполнительном комитете очень затянулся. Войсковое же правительство, выбрав председателем А. П. Филимонова, без замедления приступило к действию, в первую очередь постаралось подчинить себе старый исполнительный аппарат прежнего областного правления и Войскового штаба.

В один из ближайших полупраздничных дней, 9—22 мая, было устроено представление чинов областного правления Войсковому правительству с войсковым контролем. Председатель А. П. Филимонов сказал приличествующую случаю речь, обошел фронт чиновников, пожал руки старшим.

Войсковое правительство избрало местом своего пребывания атаманский дворец, другую половину которого занимал

комиссар Временного всероссийского правительства Бардиж.

Для новой власти было необходимо значительное время для ознакомления с отдельными отраслями огромного войскового хозяйства, установившимися способами эксплуатации его и, наконец, с порядком отчетности. Дело контроля как будто бы должно было начинаться с этого последнего: как велась отчетность, какими данными она располагает и т. д.

Но Войсковому правительству было не до практических занятий делами войска. Оно ушло целиком в вопросы политического дня, а главное — в борьбу за преобладание, за власть с областным Комитетом, создавшим наконец свой президиум и открывшим свои действия в том же атаманском дворце.

В заседаниях Войскового правительства я бывал с правом совещательного голоса и обычно принимал участие в прениях.

Деятельность в этих исполнительных органах протекала, как в машине без приводных ремней. Энергия тратилась или на «внутреннее горение», или на.. взаимное подсиживание.

Областной Комитет превращался в типичную «говорильню». Около месяца в нем оставался «временным председателем» В. В. Скидан — человек дела. Однажды на заседании он разнервничался, расплакался и ушел.

Тогда председателем Комитета был избран адвокат Турутин, «трещотка», как прозвали его в Войсковом правительстве; отличался он способностью произносить бесконечные и часто бессодержательные речи.

Комитет вовсе потонул в речах, собираясь на заседания дважды в день — утром и вечером.

На общем фоне бесцветности первого Войскового правительства Макаренко был видной фигурой, но являвшаяся иногда у него правильная мысль тонула в бесконечной и витиеватой его словесности. Его призывы к осторожности в принятии нового метода земского строительства, чтобы не погубить достойный всяческого внимания опыт прошлого, исходили из правильного учета предреволюционного положения на Кубани. Но одновременный его поход против «трескучих говорунов» в Исполнительном комитете вызывал у тех подозрение о реакционных замыслах не только его, Макаренко, но всей казачьей части Исполнительного комитета, а отсюда устанавливалось взаимное отчуждение.

Идея Макаренко о неотложности для казачества объединиться в союз (несколько позже — в «Юго-восточный Союз») с одновременными и слишком громко произносимыми воплями о «ползучей вши» с фронта (дезертирах), *о необходимости заслонов от нее на рубежах казачьих земель* способствовала лишь углублению розни среди кубанского населения, и к тому же кричать кричали, а практически сами ни с места.

А на улицах Екатеринодара уже шли непрерывные митинги с участием безответственных ораторов из той же самой «ползучей вши», как равно и слушатели были из нее же.

Мыслям Макаренко о необходимости защиты порядка у себя своей казачьей вооруженной рукой противопоставлялась мысль о вооруженной солдатской руке. В начале лета это была простая бравада, а потом стала тягчайшим фактом местной жизни.

Но тут произошло некоторое по времени отвлечение от споров и разговоров и о земстве, и о других вопросах общего строительства. Вскоре по реконструировании Войскового правительства в Екатеринодар прибыли в массе делегаты казачьих частей, побывавшие на общеказачьем фронтовом Съезде в Петрограде (открылся 23 марта 1917 года.)

В своем большинстве это была офицерская молодежь в чине не выше есаула, и только небольшая часть была из кадрового офицерства, в большинстве же — прапорщики, хорунжие — офицеры производства военного времени.

Прибыв в войсковой центр перед отбытием на фронт для доклада своим частям, они пожелали разобраться в войсковых делах на месте, в области.

— Что вы здесь натворили? — был преобладающий вопрос фронтовиков этого приезда к участникам областного Съезда и Войсковой Рады.

Нужно отметить, что эта громко взывающая часть фронтовиков оказалась по настроению близка к Макаренко. Громогласным коноводом ее был подъесаул Винников, здоровый молодой человек с необыкновенно зычным голосом. Но настоящее руководительство тут принадлежало, впрочем, не Винникову, а сотнику Бардижу В. К., сыну комиссара Бардижа Кондратия Лукича.

Весьма гибкий, с юридическим образованием, В. К. Бардиж был недурным партнером И. Л. Макаренко в его игре. Он очень тонко действовал в направлении создания «требований фронтовиков» о необходимых исправлениях в принятых положениях об управлении областью или, как образно выражались тогда, требований о выведении казаков из «примечаний». Тонкость игры молодого Бардижа была необходима для этой группы не только вследствие особенностей времени, но также и вследствие наличия иных течений на самом съезде фронтовиков. На нем прежде всего была своя крайняя левая, говорили даже, что возглавлял эту крайнюю левую знаменитый впоследствии большевистский главковерх Сорокин. Численно группа левых была ничтожна.

Гораздо важнее было настроение основной массы приехавших тогда в Екатеринодар фронтовиков, молчаливой, сдержанной и серьезной.

В числе вопросов, поставленных именно этой частью фронтовиков Войсковому правительству на совещании в здании войсковой женской гимназии, где происходили тогда собрания, значилось, между прочим, как смотрит Войсковое правительство на земельный вопрос.

Для успокоения именно этой части со стороны Войскового правительства выступил Д. С. Иваненко, свободный в таких случаях на язык, и громогласно заявил, что заподазривать Войсковое правительство данного состава в симпатиях к землевладельцам нет основания, среди членов правительства имеется единственный землевладелец — это он, Иваненко, но «чтобы характеризовать, как я смотрю на аграрную проблему в России, достаточно будет знать, что я принадлежу к партии социалистов-революционеров»...

Первый съезд фронтовиков в целом не нашел возможным производить ломку уже сорганизованного, воздержался от вынесения решительных резолюций по поводу установившегося порядка на Кубани и, информировавшись сам, разъехался по своим частям. Лишь немногие, войдя во вкус политики, задержались в крае.

Продолжение следует

Семен Франк

КРУШЕНИЕ КУМИРОВ

Дети! Храните себя от идолов
I посл. Иоанна, 5, 21

1. КУМИР РЕВОЛЮЦИИ

Нынешнее молодое поколение, созревшее в последние годы, после рокового 1917 года, и даже поколение, подраставшее и духовно слагавшееся после 1905 года, вероятно, лишь с трудом может себе представить и еще с большим трудом внутренне понять мировоззрение и веру людей, душа которых формировалась в так называемую «эпоху самодержавия», т. е. до 1905 года. Между тем, вдуматься в это духовное прошлое, в точности воскресить его — необходимо; ибо та глубокая болезнь, которою страдает в настоящее время русская душа — и притом во всех ее многообразных проявлениях, начиная от русских коммунистов и кончая самыми ожесточенными их противниками — и лишь внешним выражением которой является национально-общественная катастрофа России, — эта болезнь есть последствие или — скажем лучше — последний этап развития этого духовного прошлого. Ведь доселе вожди и руководители всех партий, направлений и умственных течений — в преобладающем большинстве случаев люди, вера и идеалы которых сложились в «дореволюционную эпоху».

В ту эпоху преобладающее большинство русских людей из состава так называемой «интеллигенции» жило одной верой, имело один «смысл жизни»; эту веру лучше всего определить как веру в революцию. Русский народ — так чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом устаревшей, выродившейся, злой, эгоистичной, произвольной власти. Министры, губернаторы, полиция — в конечном итоге система самодержавной власти во главе с царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в народной нищете, в народном невежестве, в отсталости русской культуры, во всех совершаемых преступлениях. Коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам единственным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и заменилось добром, и наступил золотой век всеобщего счастья и братства. Добро и зло было тождественно с левым и правым, с освободительно-революционным и консервативно-реакционным политическим направлением. (Отметим сейчас же теперь этот болезненный политивизм, этот своеобразный недуг сужения духовного горизонта также очень широко распространен, только с обратным знаком: для очень многих теперь добро тождественно с правым, а зло — с левым). Но не только добро или нравственный идеал совпадал с идеалом политической свободы; наука, искусство, религия, частная жизнь — все подчинялось ему же. Лучшими поэтами были поэты, воспевавшие страдания народа и призывавшие к обновлению жизни, под которым подразумевалась, конечно, революция. Не только нигилисты 60-х годов, но и люди 90-х годов ощущали поэзию Некрасова гораздо лучше, чем поэзию Пушкина, которому не могли простить ни его камер-юнкерства, ни веры в самодовлеющую ценность искусства; мечтательно наслаждались бездарным нытьем Надсона, потому что там встречались слова о «страдающем брате» и грядущей гибели «Ваала». Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского представлялись хулой на духа святого; в 90-х годах литературный критик Волынский, который осмелился критически отнестись к этим неприкосновенным святыням, был подвергнут жесточайшему литературному бичеванию и бойкотом общественного мнения изгнан из литературы. Научные теории оценивались не по их внутреннему научному значению, а по тому, клонятся ли они к оправданию образа мыслей, связанного с революцией, или, напротив, с «реакцией» и консерватизмом. Сомневаться в правильности дарвинизма, или материализма, или социализма значило изменять народу и совершать предательство. Не только религия, но и всякая не материалистическая и не позитивистская философия были заранее подозрительны и даже заранее были признаны ложными, потому что в них ощущалось родство с духом «старого режима», их стиль не согласовался с принятым стилем прогрессивно-революционного мировоззрения. Впрочем, исключения допускались или, по крайней мере, терпелись: для этого только нужно было, чтобы автор еретической идеи либо доказывал, что эта идея согласима с революционной верой и даже необходима для нее, либо чтобы он вообще был настроен политически-благонамеренно (т. е. держался «левого» образа мыслей) и — еще лучше — чтобы он пострадал от правительства. Так, Владимира

Соловьева терпели и даже немного уважали за его речь о помиловании террористов, за статьи о национализме и за сотрудничество в «Вестнике Европы». За это ему прощали, как странное личное чудачество, наивную и зловредную веру в Бога и церковь. Когда в первые годы 20-го века начал нарождаться философский идеализм — что было хотя лишь робким началом, но все же первым существенным шагом в преодолении господствующего мировоззрения, первым симптомом того духовного кризиса, который во всей глубине своей сказывается лишь теперь — то он отчасти ради самозащиты, отчасти по искреннему убеждению драпировался также в политическую мантию: наиболее убедительным аргументом в его пользу считалось, что «философский идеализм» необходим как основа моральной самоотверженности в политической борьбе. И лучшим оправданием веры в Бога, когда впервые раздалась в кругах интеллигенции эта неслыханная дотоле проповедь, служило рассуждение, что эта вера не только не реакционна, но, напротив, одна лишь обеспечивает политический прогресс и освобождение народа.

Положительная политическая программа не у всех была одинаковой: существовали и либералы, и радикалы-демократы, и социалисты-народники, отрицавшие развитие капитализма и требовавшие сохранения общины, и социалисты-марксисты, призывавшие к развитию капитализма и отрицавшие полезность крестьянской общины. Но не в этих деталях программы было дело, и внутреннее, духовное различие между представителями разных партий и направлений было очень незначительным, ничуть не соответствуя ярости теоретических споров, разгоравшихся между ними. Положительные идеалы и разработанные программы реформ, вообще взгляды на будущее были делом второстепенным; ибо в глубине души никто не представлял себя в роли ответственного, руководящего событиями политического деятеля. Главное, основная точка устремления лежала не в будущем и его творчестве, а в отрицании прошлого и настоящего.

Вот почему веру этой эпохи нельзя определять ни как веру в политическую свободу, ни даже как веру в социализм, а по внутреннему ее содержанию можно определить только как веру в революцию, в низвержение существующего строя. И различие между партиями выражало отнюдь не качественное различие в мировоззрении, а, главным образом, различие в интенсивности ненависти к существующему и отталкивания от него, — количественное различие в степени революционного радикализма. Земцы-либералы, связанные с местной жизнью и по опыту знакомые с ней, упрекали радикальных революционеров в незнании русской жизни, в поспешности их требований, которые казались им не столько вредными, сколь лишь неосуществимыми. Революционеры упрекали либералов в личной трусости, которая усматривалась во всяком уклонении от подпольно-революционной деятельности или в дряблости нравственно-политического темперамента, в нерешительности и половинчатости в борьбе с существующим строем. Либералы и «умеренные» в глубине души сами чувствовали себя грешниками, слабыми людьми, не способными на героизм революционеров; их совесть была неспокойна. Критиковать социализм или радикальный демократизм по существу никому не приходило и в голову; или, в лучшем случае, это можно было делать в узком кругу, в интимной обстановке, но отнюдь не гласно: ибо гласная, открытая критика крайних направлений, борьба налево были недопустимым предательством союзников. По общему правилу... Не только критика социализма и радикализма была неслыханной ересью (еще в 1909 году участники сборника «Вехи», впервые решительно порвавшие с этой традицией, встретили негодующее порицание даже умеренных кругов русского общества, и П. Н. Милюков, выражавший ходячее общественное мнение либералов формулой «у нас нет врагов слева», сочтет своей обязанностью совершить лекционное турне, посвященное опровержению идей «Вех»), — но даже открытое исповедание политической умеренности требовало такого гражданского мужества, которое мало у кого находилось. Ибо не только «консерватор», «правый» было бранным словом; таким же бранным словом было и «умеренный». Сейчас же приходили в голову осмеянные Щедриным типы, символы «умеренности и аккуратности»; «умеренный» — это был обыватель, робкий, лишенный героизма, из трусости или нерешительности желавший примирить непримиримое, существо, которое «ни горячо, ни холодно», которое идет на недопустимые компромиссы. Как указано, сами «умеренные» не имели в этом отношении чистой совести, чувствовали себя не вполне свободными от этих пороков; в огромном большинстве случаев они смотрели на революционеров, как церковно настроенные миряне смотрят на святых и подвижников — именно как на недосягаемые образцы совершенства. Ибо чем левее, тем лучше, выше, святее. Ироническая формула «левее здравого смысла» раздалась впервые после 1905 года и принадлежит уже совсем иной эпохе, есть уже симптом крушения всего мировоззрения.

Если попытаться как-нибудь все же определить положительное содержание этой столь пламенной и могущественной веры, то для нее нельзя отыскать иного слова, кроме «народничества». «Народниками» были все — и умеренные либералы, и социалисты-народники, и марксисты, теоретически боровшиеся с народничеством (понимая последнее здесь в узком смысле определенной социально-политической программы). Все хотели служить не Богу и даже не родине, а «благу народа», его материальному благосостоянию и культурному развитию. И главное — все верили, что «народ», низший,

трудящийся класс, по природе своей есть образец совершенства, невинная жертва эксплуатации и угнетения. Народ — это Антон Горемыка, существо, которое ненормальные условия жизни насильственно держат в нищете и бессилии и обрекают на пьянство и преступления. «Все люди выходят добрыми из рук Творца», зло есть лишь производное последствие ненормального общественного строя — эта формула Руссо бессознательно — ибо сознательно мало кто отдавал себе в том отчет — лежала в основе отношения к народу. Интеллигент чувствовал себя виноватым перед народом уже тем, что он сам не принадлежал к «народу» и жил в несколько лучших материальных условиях. Искупить свою вину можно было только одним — самоотверженным служением «народу». А так как источник бедствий народа усматривался всецело в дурном общественном строе, в злой и порочной власти, то служить «народу», перейти на его сторону значило уйти от «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» в стан «погибающих за великое дело любви», объявить власти и всем врагам народа беспощадную войну: другими словами, это значило стать революционером. Народничество и было мировоззрением, в силу которого весь душевный пыл, вся сила героизма и самоотвержения сосредоточивалась на разрушении — на разрушении тех политических или социальных условий жизни, в которых видели единственный источник всего зла, единственную преграду, мешавшую самопроизвольному росту добра и счастья в русской жизни. Любовь к народу, сочувствие к его страданиям были исходной точкой этого умонастроения; но эта исходная точка нравственного пути в практике душевного опыта заслонялась и оттеснялась на задний план эмоциями, необходимыми для осуществления нравственной цели — эмоциями ненависти к «врагам народа» и революционно-разрушительной ярости. Мягкий по природе и любвеобильный интеллигент-народник становился тупым, узким, злобствующим фанатиком-революционером; или, во всяком случае, нравственный тип угрюмого и злого человеконенавистника начинал доминировать и воспитывать всех остальных по своему образцу.

Все это звучит почти как карикатура, но есть лишь точное описание того, что составляло еще 20 лет тому назад, а отчасти и гораздо позднее, весь смысл жизни русского интеллигента. Мы описываем все это не для того, чтобы насмеяться над нашим недавним духовным прошлым, которое на наших глазах воплотилось в столь ужасную политическую действительность коммунистического строя. Сейчас, когда всякий маломальски здравомыслящий человек воочию видит уродливость и ложность этой веры, осмеяние ее не многого стоит. Конечно, там, на родине, где омертвевшие формулы этой ложной веры губят жизнь и творят бесчеловечные, неправые дела, действенная и идейная борьба с ними есть гражданский долг. Но в области подлинной духовной жизни эта вера теперь уже столь мертва, ее горение в душах так основательно потухло, что изобличать ее и глумиться над нею было бы делом слишком дешевым. Наше время тем меньше имеет права на это, что уродство этой веры продолжает в значительной мере жить в нем, лишь с обратным, противоположным содержанием. Сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким политизмом — людей, для которых, как мы уже поминали, добро и зло совпадает с правым и левым (как оно раньше совпадало с левым и правым) и которые на вопрос о смысле их жизни могут ответить только: «ненависть к большевикам»!

Мы описали это прошлое для того, чтобы оживить в памяти невероятную силу над русскими умами и душами этого *кумира революции*, глубину и могущество веры в него. Здесь, где мы занимаемся не политикой и политической пропагандой, а осмыслением нашего духовного прошлого и настоящего, мы можем и должны помянуть не только ложность и нелепость *содержания* этой веры, но и нравственно-духовную силу власти над душами. Вспомним, что тысячи и десятки тысяч русских людей, между которыми было много подлинно талантливых, вдохновенных душ, жертвовали ради этого кумира своей жизнью, спокойно всходили на виселицы, шли в ссылку и в тюремное заключение, отрекались от семьи, богатства, карьеры, даже от духовных благ искусства и науки, к которым многие из них были призваны. Со скорбью об их заблуждениях, но и с уважением, которого заслуживает даже самая ложная и зловредная вера, должны мы вспомнить об этой рати мучеников, добровольно приносивших себя в жертву молоху революции. О них поведал Европе в эпической книге Кеннан, они приводили своим героизмом в восхищение Ибсена, изнывавшего от мещанской пошлости благополучной европейской жизни. Чтобы понять трагедию крушения этой веры, нужно прежде всего ощутить ее былую силу и обаятельность. Все ужасное, бушующее пламя русской революции разгорелось от огня этой веры, благоговейно хранимого в душах в течение более полувека. И когда в душах интеллигенции, начиная с 1905 года, этот пыл начал уже потухать, и в особенности, когда интеллигенция в октябре 1917 года в ужасе и смятении отшатнулась от зажженного ею же пожара, огонь этой веры перешел в души простых русских мужиков, солдат и рабочих. Ибо сколько бы порочных и своекорыстных вожделений ни соучствовало в русской революции — как и во всякой революции, — ее сила, ее упорство, ее демоническое могущество и непобедимость объяснимы только из той пламенной веры, во имя которой тысячи русских людей, «красноармейцев» и рабочих, шли на смерть, защищая свою святыню — «революцию». А сколько есть еще доселе интеллигентов, людей, считающих себя мыслящими и разумными политическими деятелями, которые и

теперь еще, когда сама жизнь громко вопиет о ложности и гибельности этой веры, продолжают судорожно за нее цепляться, ибо боятся, утеряв ее, утратить смысл жизни. Одни, в рядах коммунистов, упорно слагают с себя ответственность за все сотворенное зло, погрязают в преступлениях, оправдываемых политической необходимостью, — только потому, что не имеют внутреннего мужества отречься от ложной веры, не в силах признаться, что они впали в роковое заблуждение. Другие, ужаснувшиеся зла, которое принесла революция, стараются ответственность за него снять с самой революции и перенести на отдельных людей или на отдельную партию. Так, некоторые отчасти в бессознательной слепоте, отчасти из упорного нежелания сознаться в банкротстве своей веры, продолжают — во имя революции — геройствовать в борьбе с порядком, порожденным революцией, как они раньше геройствовали в борьбе со старым порядком. Все это — явления судорожного, отчаянного стремления искусственно раздуть потухающий огонь старой веры, обаяние которой было так безмерно велико и всевластно.

Но все же — вера эта умерла и ничто уже не в силах воскресить ее. Кумир, которому поклонялись многие поколения, которого считали живым Богом-спасителем, которому приносились бесчисленные человеческие жертвы, — этот кумир, которому сейчас тупые фанатики или бессовестные лицемеры вынуждают еще поклоняться, во имя которого расстреливают людей, калечат русскую жизнь, издеваются над истинной религией — именно в силу этого потерял свою власть над душами, изобличен как мертвый истукан. Живые души в ужасе и омерзении отступились от него. Большевики с своей точки зрения вполне правы, когда обвиняют революционную русскую интеллигенцию в «предательстве». Они не понимают лишь или не хотят понять глубокой трагедии, оправдывающей эту измену. Интеллигенция в момент осуществления высших своих надежд, в момент наступления чаемого в течение более полувека «царства Божия» — именно наступления революции и торжества ее идеалов — вдруг поняла, что Бог-спаситель ее заветной веры есть ужасное, всеистребляющее чудовище или мертвый истукан, способный вдохновлять лишь безумных и лишь на безумные и убийственные дела. Острота этой трагедии смягчена и прикрыта отчасти тем, что она совершалась в смене поколений, отчасти тем, что в более чутких сознаниях она назревала уже давно, по меньшей мере с 1905 года, отчасти, наконец, в силу общего защитного приспособления человеческого духа, загоняющего в бессознательные глубины все наиболее тягостное и не допускающего озарения его светом ясного сознания.

Но что, собственно, здесь изобличено как ложное и злое начало, какая именно вера умерла в душах, какое божество раскрылось как мертвый кумир? Совершенная ясность здесь далеко еще не достигнута. Одни, наименее чуткие, думают, что достаточно внести в старую веру маленькие поправки, наложить заплаты на лохмотья старых знамен, подвести подпорки под развалившегося истукана и подклеить его трещины, чтобы все сразу вновь увидали в нем прежнее, лучезарно-обаятельное божество. Говорят, «мы ошибались в степени подготовленности русского народа, который еще не созрел для социализма или для революции вообще»; или: «мы поняли теперь, что социализм есть благо лишь в непременном сочетании с демократическими началами, а вне связи с ними есть зло» и т. п. Те, кто находятся в таком духовном состоянии, нас здесь не интересуют; это — либо толстокожие тупые упрямцы, которых ничем не прошибешь, либо же люди, боящиеся сами себе сознаться в глубине и значительности происшедшей духовной катастрофы. Другие, более глубоко потрясенные — такие, вероятно, преобладают — делают более радикальные выводы: они говорят, что жизнь изобличила ложность социализма или революционизма и что поэтому отныне надо начать служить прямо противоположным идеалам: надо провозгласить священность института частной собственности, надо восстановить монархию, уверовать в принципы консерватизма и т. п. Все это *отрицательно* вполне правильно, т. е. поскольку сводится к честному констатированию окончательного крушения старой веры. Но все это далеко не так радикально, как это кажется и как это необходимо. Ибо опрокинут один кумир для того, чтобы тотчас же воздвигнуть другой и начать ему поклоняться с прежним изуверством, что не значит освободиться от идолопоклонства и окончательно понять смысл происшедшего его изобличения. Пусть социализм как универсальная система общественной жизни изобличен в своей ложности и гибельности; но история показывает, что и крайний хозяйственный индивидуализм, всевластие частнособственнического начала, почитаемого за святыню, также калечит жизнь и несет зло и страдания; ведь именно из этого опыта и родилась сама вера в социализм. Пусть революционность, жажда опрокинуть старый порядок, чтобы все устроить заново в согласии со своими идеалами, есть величайшее безумие; но история показывает, что и контрреволюционность, когда она овладевает душами как абсолютное начало, способна стать таким же насильственным подавлением жизни, революцией с обратным содержанием. Пусть так называемые «демократические идеалы» — свобода, всеобщее избирательное право и т. п. — неспособны уже, после пережитого, зажечь души верой; но и слепая вера в монархию есть для нас тоже поклонение кумиру. Вообще говоря — все общественные, политические, социальные принципы на свете относительны. Дело специалистов, людей научного знания и общественного опыта, расценить относительное значение каждого, степень его полезности

или вредности, условия и формы, при которых они могут оказаться целесообразными или которые, наоборот, делают их неуместными. И наряду с этим трезвым, спокойным научным знанием каждая эпоха имеет в этой области свои увлечения, свои односторонности — и ни одна такая вера не вправе с презрением говорить о другой и считать себя единоспасающей. Идолопоклонство революционной веры заключалось не только в том и даже совсем не в том, что она имела ложные или односторонние социально-политические идеалы, а в том, что она поклонялась своим общественным идеям, как и д о л у, и признала за ними достоинство и права всевластного божества. То, что сейчас погибло и крушение чего есть, быть может, единственное оправдание или единственный смысл всей общественной катастрофы, есть не только определенное общественное мировоззрение, а именно сама к а ч е с т в е н н а я п р и р о д а ложной, идолопоклоннической веры.

Но мы уже невольно вышли за пределы обсуждаемой здесь темы. Собственно, крушение кумира революции как такового — какими бы хитросплетениями разума ни пытались некоторые еще спасать этот кумир — настолько очевидно, есть столь бесповоротный факт русского духовного развития, что не было бы даже особой надобности кричать о нем на перекрестках общественной жизни. Но дело в том, что кумир революции был еще так недавно укоренен в таких глубинах духа, что его крушение не может пройти бесследно для всей структуры духовной жизни. Кумир этот столь тесно был связан с рядом других кумиров, что он неизбежно увлекает их за собой в своем падении. Другими словами, его падение есть только начало, первый этап или первый симптом наступающего глубокого духовного переворота, наличность которого многие смутно ощущают, но лишь немногие осмыслили до конца. В предыдущих строках мы уже вплотную подошли к усмотрению крушения иного, еще более универсального кумира — кумира политики вообще.

2. КУМИР ПОЛИТИКИ

Разочарование, овладевшее душами в результате того, что напряженно-страстная, самоотверженная политическая борьба за осуществление «царства Божия на земле» привели к торжеству царства смерти и сатаны — это разочарование гораздо глубже простой потери веры в определенные, частные политические идеалы социализма, демократии и т. п. Многие ощутили, не отдавая себе в том сознательного отчета, — а кто имеет очи, чтобы видеть, те ясно увидали в частной, с известной точки зрения случайной судьбе русской революции нечто гораздо более многозначительное и общее — именно крушение п о л и т и ч е с к о г о ф а н а т и з м а вообще. Дело не в одних частных ошибках старого мировоззрения — не только в том, что социализм есть утопия, в своем осуществлении губящая жизнь, или что было ребяческой наивностью усматривать все зло жизни в носителях старой власти или в ее системе и считать безгрешными и святыми и весь русский народ, и в особенности деятелей революции. Если отвлечься от частностей и сосредоточиться на основном — не есть ли судьба русской революции судьбой прежде всего в с я к о й р е в о л ю ц и и в о о б щ е? Не то ли же самое случилось и во французскую революцию, где во имя торжества разума творилось дикое безумие, где во имя свободы, равенства и братства воцарился чудовищный деспотизм, всеобщий раздор и панический ужас, бессмысленное истребление людей и разрушение хозяйственной жизни, разнуздались садистские инстинкты мести, ненависти и жестокости? Не то же ли самое творилось и в английскую революцию, где строгие добродетельные пуритане с именем Бога на устах, после ежедневной утренней молитвы, беспощадно истребляли мирных инакомыслящих людей, в которых они видели «безбожных амалекитян и филистимлян», и на радость сатаны мечом и разрушением пытались насаждать в личной и общественной жизни чистое пуританское благочестие? История революции в бесконечных вариациях и видоизменениях повторяет одну и ту же классически точно и закономерно развивающуюся тему: тему о святых и героях, которые, горя самоотверженной жаждой облагодетельствовать людей, исправить их и воцарить на земле добро и правду, становятся дикими извергами, разрушающими жизнь, творящими величайшую неправду, губящими живых людей и водворяющими все ужасы анархии или бесчеловечного деспотизма. Дело не в том, значит, какие именно политические или социальные идеалы пытаются осуществить; дело — в самом способе их осуществления, в какой-то основной, независимой от частного политического содержания, морально-политической структуре отношения к жизни и действительности во имя общественного идеала.

Но, может быть, такова роковая судьба именно только революций, возмущений низших классов, низвержений тронов и исторически сложившихся порядков? История революции в этом смысле есть, конечно, особая тема, имеющая свою собственную закономерность. Но духовный взор, достаточно изощрившийся на страдальческом опыте революции и потому обозревающий достаточно широкий горизонт, не останавливается на этом. Он видит дальше и видит ту же трагедию или то же сатанинское превращение добра во зло и во всех контрреволюциях, религиозных войнах, во всех вообще насильственных осуществлениях в жизни каких-либо абсолютных идеалов общественно-духовного устроения. Разве мы не имели опыта «белого», контрреволюционного движения, воодушевленного самыми чистыми и бесспорными идеалами спасения родины, восстановления государственного единства и

порядка, — движения, которое, правда, не имело своего торжества и потому в памяти многих сохранило свою святость мученической борьбы за правое дело, но о котором один из самых пламенных, но и самых чутких и правдивых его вождей уже должен был с горечью признать, что «дело, начатое святыми, было закончено бандитами» (буквально так же, как русская революция). И не то же ли самое произошло и с торжеством реставрации Бурбонов («белый террор!»), или с торжеством «священного союза», основатели которого действительно были полны чистой мечты освобождения человечества от ужасов революций и войн, умиротворения жизни на началах христианской любви, и вместо этого заключили Европу в душную тюрьму и довели ее тем до катастрофы 48-го года? А католическая реакция 16—17-го века, Варфоломеевская ночь, герцог Альба, и — еще шире — злосчастная судьба католической теократии вообще — судьба мечты о христианской церкви как всемирной власти, насаждающей царство правды и любви? Нет, куда бы мы ни обратили взор, всюду одно и то же:

— И прежде кровь лилась рекой,
И прежде плакал человек —

и лилась эта кровь всегда во имя насаждения какой-то правды, и плакал человек, которого какие-то самоотверженные благодетели, во имя его собственного спасения, истязали и насиловали.

Если с этой точки зрения окинуть общим взором всю жизнь человечества, то приходится усмотреть парадоксальный, но воочию явственный факт (его очевидность еще усугубится для нас, если обратить внимание — о чем ниже — на тиранию идей, принципов и идеалов в частной жизни людей): все горе и зло, царящие на земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, страдания, по меньшей мере на 99%, суть результат воли к осуществлению добра, фанатической веры в какие-либо священные принципы, которые надлежит немедленно насадить на земле, и воли к беспощадному истреблению зла; тогда как едва ли и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действием откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли.

По существу здесь надо сказать еще следующее. Крушение кумира «политики», веры в какой бы то ни было идеал общественного порядка, немедленное и полное осуществление которого уничтожало бы зло и водворяло бы на земле добро и правду, — это крушение совсем не тождественно с п р и н ц и п и а л ь н ы м отрицанием государства, принуждения, политической жизни и т. п. Скорее, наоборот: всякое такое принципиальное отрицание, т. е. возведение отрицания в священный принцип, в ранг абсолютного добра есть, как уже было указано, то самое кумиротворчество, на которое мы более не способны.

Крушение кумира «общественного идеала» не только не ведет к анархизму, но не требует и политического индифферентизма. Если только я знаю, для чего я вообще живу, на чем утверждено мое бытие и чему оно служит, если моя жизнь только согрета и оживотворена подлинной верой, дающей мне радость, бодрость и ясность, то я уже сумею построить свой дом, установить внешние условия и порядок, необходимый и наиболее благоприятствующий внутреннему содержанию моей жизни. Этот порядок и условия жизни будут для меня непосредственно определяться высшей целью моей жизни, и я буду иметь твердое мерило для их расценки, буду знать, почему я люблю и признаю одно и отвергаю другое. Они вновь озарятся для меня светом живого смысла — но светом, отраженным от солнца высшей правды. Они будут для меня не идолами, которые требуют человеческих жертвоприношений, и потом в миг разочарования с позором низвергаются, а осмысленными путями и орудиями моего служения Богу.

Но прежде всего я должен знать, для чего я вообще живу. И здесь я знаю пока лишь одно: я не могу жить ни для какого политического, социального, общественного порядка. Я не верю больше, что в нем можно найти абсолютное добро и абсолютную правду. Я вижу и знаю, наоборот, что все, кто искали этой правды на путях внешнего, государственного, политического, общественного устроения — все, кто верили в монархию или в республику, в социализм или в частную собственность, в государственную власть или в безвластие, в аристократию и в демократию как в а б с о л ю т н о е добро и а б с о л ю т н ы й смысл, — все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду. Я должен прежде всего трезво и безболезненно подвести этот отрицательный итог.

Кумир «политического идеала» разоблачен и повержен, и никакие трусливые рассуждения об опасности и рискованности этого состояния не могут изменить этот бесповоротно совершившийся факт.

Продолжение следует

СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ*

ПРОТОКОЛ № 10-й

Показное в политике. «Гениальность» подлости. Что обещает масонский государственный переворот? Всеобщее голосование. Самозначение. Лидеры масонства. Гениальный руководитель масонства. Учреждения и их функции. Яд либерализма. Конституция — школа партийных раздоров. Республиканская эра. Президенты — креатура масонства. Ответственность президентов. «Панама». Роль палаты депутатов и президента. Масонство — законодательная сила. Новая республиканская конституция. Переход к масонскому «самодержавию». Момент провозглашения «всемирного царя». Прививка болезней и прочие козни масонства.

Сегодня начинаю с повторения уже сказанного и *прошу вас помнить, что правительства и народы в политике довольствуются показным*. Да и где им разглядывать подкладку вещей, когда их представителям важнее всего веселиться. Для нашей политики весьма важно ведать эту подробность: она нам поможет при переходе к обсуждению разделения власти, свободы слова, прессы, религии (веры), права ассоциации, равенства перед законом, неприкосновенности собственности, жилища, налога (идея о скрытом налоге), обратной силы законов. Все эти вопросы таковы, что их прямо и открыто для народа не следует никогда касаться. В тех случаях, когда необходимо их коснуться, надо не перечислять их, а заявлять без подробного изложения, что принципы современного права признаются нами. Значение этого умолчания заключается в том, что неназванный принцип оставляет нам свободу действий исключать то или другое из него неприметно; при перечислении же их они являются все как бы уже дарованными.

Народ питает особую любовь и уважение к гениям политической мощи и на все их насильственные действия отвечает: подло-то подло, но ловко!.. Фокус, но как сыграть, сколь величественно, нахально!..

Мы рассчитываем привлечь все нации к работе возведения нового фундаментального здания, которое нами проектировано. Вот почему нам, прежде всего, необходимо запастись и заручиться той прямой бесшабашной удалью и мощью духа, которая в лице наших деятелей сломит все препятствия на нашем пути.

Когда мы совершим наш государственный переворот, мы скажем тогда народам: «Все шло ужасно плохо, все исстрадались. Мы разбиваем причины ваших мук: народности, границы, разномонетность. Конечно, вы свободны произнести над нами приговор, но разве он может быть справедливым, если он будет вами утвержден прежде, чем испытаете то, что мы вам дадим»... Тогда они нас вознесут и на руках понесут в единодушном восторге надежд и упований. Голосование, которое мы сделали орудием нашего воцарения, приучив к нему даже самые мелкие единицы из числа членов человечества составлением групповых собраний и соглашений, отслужит свою службу и сыграет на этот раз свою последнюю роль единогласием, в желании ознакомиться с нами поближе, прежде чем осудить.

Для этого нам надо привести всех к голосованию, без различия классов и ценза, чтобы установить абсолютизм большинства, которого нельзя добиться от интеллигентных цензовых классов. Таким порядком приучив всех к мысли о *самосознании*, мы сломаем значение гоевской семьи и ее воспитательную цену, устраним выделение индивидуальных умов, которым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться: она привыкла слушать только нас, платящих ей за послушание и внимание. Этим мы создадим такую слепую мощь, которая не будет в состоянии никуда двинуться помимо руководства наших агентов, поставленных нами на место ее лидеров. Народ подчинится этому режиму, потому что будет знать, что от этих лидеров будут зависеть заработки, подачки и получение всяких благ.

План управления должен выйти готовым из одной головы, потому что его не скрепишь, если допустить его раздробление на клочки в многочисленных умах. Поэтому нам можно ведать план действий, но не обсуждать его, чтобы не нарушить его гениальности, связи его составных частей, практической силы тайного значения каждого его пункта. Если обсуждать и изменять подобную работу многочисленным голосованием, то она понесет на себе печать всех умственных недоразумений, не проникших в глубину и связь ее замыслов. Нам нужно, чтобы наши планы были сильны и целесообразно задуманы. Поэтому *нам не следует бросать гениальной работы нашего руководителя* на растерзание толпы или даже ограниченного общества.

Эти планы не перевернут пока вверх дном современных учреждений. Они только заменят их экономию, а следовательно всю комбинацию их шествия, которое, таким образом, направится по намеченному в наших планах пути.

Под разными названиями во всех странах существует приблизительно одно и то же. Представительство, Министерства, Сенат, Государственный Совет, Законодательный и Исполнительный Корпус. Мне не нужно пояснять вам механизма отношений этих учреждений между собою, так как это

* Продолжение. Начало в № 2—3.

вам хорошо известно; обратите только внимание на то, что каждое из названных учреждений отвечает какой-либо важной государственной функции, причем, прошу вас заметить, что слово «важный» я отношу не к учреждению, а к функции их. Учреждения поделили между собой все функции управления — административную, законодательную, исполнительную, поэтому они стали действовать на государственном организме, как органы в человеческом теле. Если повредим одну часть в государственной машине, государство заболеет, как человеческое тело, и... умрет.

Когда мы ввели в государственный организм яд *либерализма*, вся его политическая комплекция изменилась: государства заболели смертельною болезнью — разложением крови. Остается ожидать конца их агонии.

От либерализма родились конституционные государства, заменившие спасительное для гоев Самодержавие, *а конституция, как вам хорошо известно, есть не что иное, как школа раздоров, разлада, споров, несогласий, бесплодных партийных агитаций, партийных тенденций, — одним словом, школа всего того, что обезличивает деятельность государства. Трибуна не хуже прессы приговорила правительства к бездействию и к бессилию* и тем сделала их ненужными, лишними, отчего они и были во многих странах свергнуты. Тогда стало возможным возникновение республиканской эры, и тогда мы заменили правителя карикатурой правительства — президентом, взятым из толпы, из среды наших креатур, наших рабов. В этом было основание мины, подведенной нами под гоевский народ, или, вернее, под гоевские народы.

В близком будущем мы учредим ответственность президентов.

Тогда мы уже не станем церемониться в проведении того, за что будет отвечать наша безличная креатура. Что нам до того, если разредеют ряды стремящихся к власти, что наступят замешательства от ненахождения президентов, замешательства, которые окончательно дезорганизуют страну...

Чтобы привести наш план к такому результату, мы будем подстраивать выборы таких президентов, у которых в прошлом есть какое-нибудь нераскрытое темное дело, какая-нибудь «панама» — тогда они будут верными исполнителями наших предписаний из боязни разоблачений и из свойственного всякому человеку, достигшему власти, стремления удержать за собою привилегии, преимущества и почет, связанный со значением президента. Палата депутатов будет прикрывать, защищать, избирать президентов, но мы у нее отнимем право предложения законов, их изменения, ибо это право будет нами предоставлено ответственному президенту, кукле в руках наших. Конечно, тогда власть президента станет мишенью для всевозможных нападок, но мы ему дадим самозащиту в праве обращения к народу, к его решению, помимо его представителей, то есть к тому же нашему слепому прислужнику — большинству из толпы. Независимо от этого мы предоставим президенту право объявления военного положения. Это последнее право мы будем мотивировать тем, что президент, как шеф всей армии страны, должен иметь ее в своем распоряжении на случай защиты новой республиканской конституции, на защиту которой он имеет право как ответственный представитель этой конституции.

Понятно, при таких условиях ключ от святилища будет находиться в руках наших, и никто, кроме нас, не будет уже руководить законодательной силой.

Кроме того, мы отнимем у Палаты со введением новой республиканской конституции право запроса о правительственных мероприятиях под предлогом сохранения новой политической тайны, да помимо того новой конституцией мы сократим число представителей до минимума, чем сократим на столько же политические страсти и страсть к политике. Если же они, паче чаяния, возгорятся и в этом минимуме, то мы их сведем на нет воззванием и обращением ко всенародному большинству...

От президента будет зависеть назначение президентов и вице-президентов Палаты и Сената. Вместо постоянных сессий Парламентов мы сократим их заседания до нескольких месяцев. Кроме того, президент, как начальник исполнительной власти, будет иметь право собрать или распустить Парламент и, в случае роспуска, протянуть время до назначения нового парламентского собрания. Но, чтобы последствия от всех этих, по существу, беззаконных действий не пали на установленную нами ответственность президента преждевременно для наших планов, *мы дадим министрам и другим окружающим президента чиновникам высшей администрации мысль обходить его распоряжения собственными мерами,* за что и подпадать под ответственность вместо него. Эту роль мы особенно рекомендуем давать для исполнения Сенату, Государственному Совету или Совету Министров, а не отдельному лицу.

Президент будет, по нашему усмотрению, толковать смысл тех из существующих законов, которые можно истолковать различно; к тому же он будет аннулировать их, когда ему нами будет указана в этом надобность, кроме того, он будет иметь право предлагать временные законы и даже новое изменение правительственной конституционной работы, мотивируя как то, так и другое требованиями высшего блага государства.

Такими мерами мы получим возможность уничтожить мало-помалу, шаг за шагом все то, что первоначально при вступлении нашем в наши права мы будем вынуждены ввести в государственные конституции для перехода к незаметному изъятию всякой конституции, когда наступит время превратить всякое правление *в наше самодержавие*.

Признание нашего самодержца может наступить и ранее уничтожения конституции: момент этого признания наступит, когда народы, измученные неурядицами и несостоятельностью правителей, нами подстроенною, воскликнут: «Уберите их и дайте нам одного, всемирного царя, который объединил бы нас и уничтожил причины раздоров — границы, национальности, религии, государственные расчеты, который дал бы нам мир и покой, которых мы не можем найти с нашими правителями и представителями»...

Но вы сами отлично знаете, что *для возможности всенародного выражения подобных желаний необходимо беспрестанно мутить во всех странах народные отношения и правительства, чтобы переутомить всех разладом, враждою, борьбою, ненавистью и даже мученичеством, голодом, прививкою болезней*, нуждою*, чтобы гои не видели другого исхода, как прибегнуть к нашему денежному и полному владычеству..

Если же мы дадим передышку народам, то желаемый момент едва ли когда-нибудь наступит.

ПРОТОКОЛ № 11-й

Программа новой конституции. Некоторые подробности предположенного переворота. Гои — бараны. Тайное масонство и его «показные» ложи

Государственный Совет явится как подчеркиватель власти правителя: он, как показная часть законодательного Корпуса, будет как бы комитетом редакций законов и указов правителя.

Итак, вот программа новой готовящейся конституции. Мы творим Закон, Право и Суд: 1) под видом предложений Законодательному Корпусу; 2) указами президента, под видом общих установлений, постановлений Сената и решений Государственного Совета, под видом министерских постановлений; 3) а в случае наступления удобного момента — в форме государственного переворота.

Установив приблизительно modus agendi, займемся подробностями тех комбинаций, которыми нам остается довершить переворот хода государственных машин в вышесказанном направлении. Под этими комбинациями я разумею свободу прессы, право ассоциации, свободу совести, выборное начало и многое другое, что должно будет исчезнуть из человеческого репертуара или должно будет в корне изменено на другой день после провозглашения новой конституции. Только в этот момент нам возможно будет сразу объявить все наши постановления, ибо после всякое заметное изменение будет опасно и вот почему: если это изменение проведено будет с суровой строгостью и в смысле строгости и ограничений, то оно может довести до отчаяния, вызванного боязнью новых изменений в том же направлении; если же оно произведено будет в смысле дальнейших послаблений, то скажут, что мы осознали свою неправоту, а это подорвет ореол непогрешимости новой власти, или же скажут, что испугались и вынуждены идти на уступки, за которые никто не будет благодарен, ибо будет их считать должными. То и другое вредно для престижа новой конституции. Нам нужно, чтобы с первого момента ее провозглашения, когда народы будут ошеломлены совершившимся переворотом, будут еще находиться в терроре и недоумении, они осознали, что мы так сильны, так неуязвимы, так исполнены мощи, что мы с ними ни в каком случае не будем считаться и не только не обратим внимания на их мнения и желания, но готовы и способны с непререкаемой властью подавить выражение и проявление их в каждый момент и на каждом месте, что мы все сразу взяли, что нам было нужно и что мы ни в каком случае не станем делиться с ними нашей властью. Тогда они из страха закроют глаза на все и станут ожидать, что из этого выйдет.

Гои — баранье стадо, а мы для них волки. А вы знаете, что бывает с овцами, когда в овчарню забираются волки?

Они закроют глаза на все еще и потому, что мы им пообещаем вернуть все отнятые свободы после усмирения врагов мира и укрощения всех партий.

Стоит ли говорить о том, сколько времени они будут ожидать этого возврата?..

Для чего же мы придумали и внушили гоям всю эту политику, внушили, не дав им возможности разглядеть ее подкладку, для чего, как не для того, чтобы обходом достигнуть того, что недостижимо для нашего рассеянного племени прямым путем. Это послужило основанием для нашей организации *тайного масонства, которого не знают, и целей, которых даже и не подозревают скоты гои, привлеченные нами в показную армию масонских лож для отвода глаз их соплеменников.*

Бог** даровал нам, своему избранному народу, рассеяние, и в этой кажущейся для всех слабости нашей и сказалась вся наша сила, которая теперь привела нас к порогу всемирного владычества..

Нам теперь немного уже остается достраивать на заложенном фундаменте.

ПРОТОКОЛ № 12-й

Масонское толкование слова «свобода». Будущее прессы в масонском царстве. Контроль над прессой. Корреспондентские агентства. Что такое прогресс в понятии масонства? Еще о прессе. Масонская солидарность в современной прессе. Возбуждение провинциальных «общественных» требований. Непогрешимость нового режима.

Слово «свобода», которое можно толковать разнообразно, мы определяем так:

* Отвергать это уже не стало теперь возможности: тому доказательство — процесс Бутурлина. Если русский доктор за деньги был способен привить смертельный яд своему пациенту, то ясно, что еврей способнее на это во много крат.

** Какой это «бог», читатель увидит из дальнейшего развития настоящего очерка.

Свобода есть право делать то, что позволяет закон. Подобное толкование этого слова в то время послужит нам к тому, что вся свобода окажется в наших руках, потому что законы будут разрушать или созидать только желательное нам по вышеизложенной программе.

С прессой мы поступим следующим образом. — Какую роль играет теперь пресса? Она служит пылкому разгоранию нужных нам страстей или же эгоистичным партийностям. Она бывает пуста, несправедлива, лжива, и большинство людей не понимает вовсе, чему она служит. Мы ее оседлаем и возьмем в крепкие вожжи, то же сделаем и с остальной печатью, ибо какой смысл нам избавляться от нападок прессы, если мы остаемся мишенью для брошюры и книги. Мы превратим ныне дорогостоящий продукт гласности, дорогой, благодаря необходимости его цензуры, в доходную статью для нашего государства: мы ее обложим особым марочным налогом и взносами залогов при учреждении органов печати или типографии, которые должны будут гарантировать наше правительство от всяких нападений со стороны прессы. За возможное нападение мы будем штрафовать беспощадно. Такие меры, как марки, залоги и штрафы, ими обеспеченные, принесут огромный доход правительству. Правда, партийные газеты могли бы не пожалеть денег, но мы их будем закрывать по второму нападению на нас. Никто безнаказанно не будет касаться ореола нашей правительственной непогрешимости. Предлог для прекращения издания — закрываемый, де, орган волнует умы без повода и основания. *Прошу вас заметить, что среди нападающих на нас будут и нами учрежденные органы, но они будут нападать исключительно на пункты, предназначенные нами к изменению.*

Ни одно оповещение не будет проникать в общество без нашего контроля. Это и теперь уже нами достигается тем, что все новости получаются несколькими агентствами, в которых они централизуются со всех концов света. Эти агентства будут тогда уже всецело нашими учреждениями и будут оглашать только то, что мы им предпишем. Если теперь мы сумели овладеть умами гоевских обществ до той степени, что все они почти смотрят на мировые события сквозь цветные стекла тех очков, которые мы им надеваем на глаза, если теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской глупостью государственным тайнам, то что же будет тогда, когда мы будем признанными владыками мира в лице нашего всемирного царя?!.

Вернемся к *будущности печати.* Каждый, пожелавший быть издателем, библиотекарем или типографщиком, будет вынужден добыть на это дело установленный диплом, который, в случае провинности, немедленно будет отобран. При таких мерах *орудие мысли станет воспитательным средством в руках нашего правительства, которое уже не допустит народную массу заблуждаться в дебрях и мечтах о благодеяниях прогресса.* Кто из нас не знает, что эти призрачные благодеяния — прямые дороги к нелепым мечтаниям, от которых родились анархические отношения людей между собою и к власти, потому что прогресс, или лучше сказать, идея прогресса, навела на мысль о всякого рода эмансипации, не установив ее границы... Все так называемые либералы есть анархисты, если не дела, то мысли. Каждый из них гоняется за призраками свободы, впадая исключительно в своеволие, т. е. в анархию протеста ради протеста..

Перейдем к прессе. Мы ее обложим, как и всю печать, марочными сборами с листа и налогами, а книги, имеющие менее 30 листов, — в двойном размере. Мы их запишем в разряд брошюр, чтобы, с одной стороны, сократить число журналов, которые собой представляют печатный яд, а с другой — эта мера вынудит писателей к таким длинным произведениям, что их будут мало читать, особенно при их дороговизне. То же, что мы будем издавать сами на пользу умственного направления в намеченную нами сторону, будет дешево и будет читаться нарасхват. Налог угомонит пустое литературное влечение, а наказуемость поставит литераторов в зависимость от нас. Если и найдутся желающие писать против нас, то не найдется охотников печатать их произведения. Прежде чем принять для печати какое-либо произведение, издатель или типографщик должен будет прийти к властям просить разрешения на это. Таким образом, нам заранее будут известны готовящиеся против нас козни, и мы их разобьем, забежав вперед с объяснениями на трактуемую тему.

Литература и журналистика — две важнейшие воспитательные силы, вот почему наше правительство сделается собственником большинства журналов. Этим будет нейтрализовано вредное влияние частной прессы и приобретется громадное влияние на умы... Если мы разрешим десять журналов, то сами учредим тридцать и так далее в том же роде. Но этого отнюдь не должны подозревать в публике, почему и все издаваемые нами журналы будут самых противоположных по внешности направлений и мнений, что возбудит к ним доверие и привлечет к ним наших ничего не подозревающих противников, которые, таким образом, попадутся в нашу западню и будут обезврежены.

На первом плане поставятся органы официального характера. Они будут всегда стоять на страже наших интересов, и потому их влияние будет сравнительно ничтожно.

На втором — станут официозы, роль которых будет заключаться в привлечении равнодушных и тепленьких.

На третьем — мы поставим как бы нашу оппозицию, которая хотя бы в одном из своих органов будет представлять собою

как бы наш антипод. Наши действительные противники в душе примут эту кажущуюся оппозицию за своих и откроют нам свои карты *.

Все наши газеты будут всевозможных направлений — аристократического, республиканского, революционного, даже анархического — пока, конечно, будет жить конституция... Они, как индейский божок Вишну, будут иметь сто рук, из которых каждая будет щупать пульс у любого из общественных мнений. Когда пульс ускорится, тогда эти руки поведут мнение по направлению к нашей цели, ибо разволновавшийся субъект теряет рассудительность и легко поддается внушению. Те дураки, которые будут думать, что повторяют мнение газеты своего лагеря, будут повторять наше мнение или то, которое нам желательно. Воображая, что они следуют за органом своей партии, они пойдут за тем флагом, который мы вывесим для них.

Чтобы направлять в этом смысле наши газетные милиции, мы должны особенно тщательно организовать это дело. Под названием центрального отделения печати мы учредим литературные собрания, в которых наши агенты будут незаметно давать пароль и сигналы. Обсуждая и противореча нашим начинаниям всегда поверхностно, не затрагивая существа их, наши органы будут вести пустую перестрелку с официальными газетами для того только, чтобы дать нам повод высказаться более подробно, чем мы могли бы это сделать в первоначальных официальных заявлениях. Конечно, когда это для нас будет выгодно.

Нападки эти на нас сыграют еще и ту роль, что подданные будут уверены в полной свободе свободоговорения, а нашим агентам это даст повод утверждать, что выступающие против нас органы пустословят, так как не могут найти настоящих поводов к существенному опровержению наших распоряжений.

Такие незаметные для общественного внимания, но верные мероприятия всего успешнее поведут общественное внимание и доверие в сторону нашего правительства. Благодаря им мы будем по мере надобности возбуждать и успокаивать умы в политических вопросах, убеждать или сбивать с толку, печатая то правду, то ложь, данные или их опровержения, смотря по тому, хорошо или дурно они приняты, всегда осторожно ощупывая почву, прежде чем на нее наступить... *Мы будем побеждать наших противников наверняка, так как у них не будет в распоряжении органов печати, в которых они могли бы высказаться до конца,* вследствие вышесказанных мероприятий против прессы. Нам еще нужно будет даже опровергать их до основания...

Пробные камни, брошенные нами в третьем разряде нашей прессы, в случае надобности, мы будем энергично опровергать в официозах...

Уже и ныне в формах хотя бы французской журналистики существует *масонская* солидарность в народе: все органы печати связаны между собой профессиональной тайной, подобно древним авгурам, и ни один член ее не выдаст тайны своих сведений, если не постановлено их оповестить. Ни один журналист не решится предать этой тайны, ибо ни один из них не допускается в литературу без того, чтобы все прошлое его не имело бы какой-нибудь постыдной раны... Эти раны были бы тотчас же раскрыты. Пока эти раны составляют тайну немногих, ореол журналиста привлекает мнение большинства страны — за ним шествуют с восторгом.

Наши расчеты особенно простираются на провинцию. В ней нам необходимо возбудить те упования и стремления, с которыми мы всегда могли бы обрушиться на столицу, выдавая их столицам за самостоятельные упования и стремления провинций. Ясно, что источник их будет все тот же — наш. *Нам нужно, чтобы иногда, пока мы еще не в полной власти, столицы оказывались окутанными провинциальным мнением народа, т. е. большинства, подстроенного нашими агентами.* Нам нужно, чтобы столицам в психологический момент не пришлось бы обсуждать совершившегося факта уже по одному тому, что он принят мнением провинциального большинства.

Когда мы будем в периоде нового режима, переходного к нашему воцарению, нам нельзя будет допускать разоблачения прессой общественной бесчестности, надо, чтобы думали, что новый режим так всех удовлетворил, что даже преступность иссякла... Случаи проявления преступности должны оставаться в ведении их жертв и случайных свидетелей — не более.

ПРОТОКОЛ № 13-й

Нужда в насущном хлебе. Вопросы политики. Вопросы промышленности. Увеселения. Народные дома. «Истина одна». Великие проблемы.

Нужда в насущном хлебе заставляет гоев молчать и быть нашими покорными слугами. Взятые в нашу прессу из их числа агенты будут обсуждать по нашему приказу то, что нам неудобно издавать непосредственно в официальных документах, а мы тем временем, под шумок поднявшегося обсуждения, возьмем да и проведем желательные нам меры и поднесем их публике как совершившийся факт. Никто не посмеет требовать отмены разрешенного, тем более, что оно будет представлено как улучшение... А тут пресса отвлечет мысли на новые вопросы (мы ведь приучили людей искать всего нового). На обсуждение этих новых вопросов набросятся те из безмозглых вершителей судеб, которые до сих пор не могут понять, что они ничего не смыслят в том, что берутся обсуждать. Вопросы

* Едва ли это не практикуется теперь даже и в России.

политики никому не доступны, кроме руководящих ею уже много веков создателей ее.

Из всего этого вы увидите, что, добиваясь мнения толпы, мы только облегчаем ход нашего механизма, и вы можете заметить, что не действиям, а словам, выпущенным нами по тому или другому вопросу, мы как бы ищем одобрения. Мы постоянно провозглашаем, что руководимся во всех наших мероприятиях надеждой, соединенной с уверенностью послужить общему благу.

Чтобы отвлечь слишком беспокойных людей от обсуждения вопросов политики, мы теперь проводим новые якобы вопросы ее — вопросы промышленности. На этом поприще пусть себе бесятся! Массы соглашаются бездействовать, отдыхать от якобы политической деятельности (к которой мы же их приучили, чтобы бороться при их посредстве с гоевскими правительствами) лишь под условием новых занятий, в которых мы им указываем как бы то же политическое направление. Чтобы они сами до чего-нибудь не додумались, *мы их еще отвлекаем увеселениями, играми, забавами, страстями, народными домами... Скоро мы станем через прессу предлагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов* *: эти интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых нам пришлось бы с ними бороться. Отвыкая все более и более от самостоятельного мышления, люди заговорят в унисон с нами, потому что мы одни станем предлагать новые направления в мысли... конечно, через таких лиц, с которыми нас не почтут солидарными.

Роль либеральных утопистов будет окончательно сыграна, когда наше правление будет признано. До тех пор они нам сослужат хорошую службу. Поэтому мы еще будем направлять умы на всякие измышления фантастических теорий, новых и якобы прогрессивных: ведь мы с полным успехом вскружили прогрессом безмозглые гоевские головы, и нет среди гоев ума, который бы увидел, что под этим словом кроется отвлечение от истины во всех случаях, где дело не касается материальных изобретений, *ибо истина одна, в ней нет места прогрессу.* Прогресс как ложная идея служит к затемнению истины, чтобы никто ее не знал, кроме нас, Божьих избранников, хранителей ее.

Когда мы воцаримся, то наши ораторы будут толковать о великих проблемах, которые переволновали человечество для того, чтобы его в конце концов привести к нашему благому направлению.

Кто заподозрит тогда, что *все эти проблемы были подстроены нами по политическому плану, которого никто не раскусил в течение многих веков?!*

* Разве это уже не совершается?

Продолжение следует

Валерий Хатюшин

ОТЧУЖДЕНИЕ ВЛАСТИ

Мне не удалось выступить на VII съезде Союза писателей России, хотя, будучи делегатом съезда, и трижды записывался для выступления. И потому теперь — обращаюсь уже к помощи печатного слова, чтобы по прошествии некоторого времени заново оценить свои предсъездовские размышления и как бы свежим взглядом посмотреть на то, чему был свидетелем во время работы нашего форума. И начать хотелось бы вот с чего. Собравшись 11 декабря 1990 года в здании Театра Советской Армии, мы с огорчением увидели, что никто из правительства на наш писательский съезд не пришел — ни из союзного, ни из российского. Ни Горбачев, ни Ельцин нас даже не поприветствовали. Что это, если не демонстрация отчуждения представителей верховной власти от писателей своей страны?

В Театре Советской Армии некоторые испугавшиеся фарисеи от литературы призывали нас заняться исключительно литературными проблемами. Но уже тогда я не сомневался, что через несколько месяцев эти проблемы нам покажутся смехотворно несерьезными в условиях всенародной огромной беды. Я был уверен, что если сейчас мы открыто не скажем власть имущим демагогам о нашей воле и о своем противостоянии им, то эти проблемы никогда не будут решены.

Почти все выступавшие были едины в убеждении: псевдодемократы, дорвавшиеся до власти в Советах, вместе с правительством национального предательства совершенно сознательно развалили Советский Союз. Так называемые перестроечные силы, вскормленные еще брежневской мафией, разрушили все экономические связи в стране, перекрыли каналы снабжения продуктами первой необходимости, и под барабанный бой прессы, пять лет галдевшей то о «новом мышлении», то о «европейском доме», то о хозрасчете, то об аренде, а теперь — о рынке, приватизации и частной собственности,— эти перестроечные силы преступно ограбили и без того разворованную страну, натравили национальные окраины на русский народ и на Советскую Армию. А наш президент в это самое время, словно в насмешку над всеми нами, получил Нобелевскую премию мира.

Многие из нас понимали: с Советским Союзом покончено. Большинство так называемых «суверенных республик» не желает подписывать пресловутый «Союзный договор». Мы видели: с социалистическим лагерем и Варшавским договором, да и с самим социализмом, кстати сказать, тоже покончено. Теперь — настала очередь Российской Федерации. Многим было ясно, что ельцинско-силаевская программа «500 дней», рассчитанная на одураченных, политически неграмотных и безразличных от безысходности россиян,— есть не что иное, как программа окончательного ограбления, закабаления, раздробления и, наконец, уничтожения российского государственного устройства за 500 дней. И с огорчением приходилось убеждаться, что лидеры да и само население многочисленных автономий России в эйфории от мнимой самостоятельности идут на поводу у разрушителей России, спекулирующих их национальными чувствами и превращающих эти автономии в своего рода таран против нашего единства. Ведь поодиночке расправиться с нами — куда способнее. Не получится ли так, что народы этих республик опомнятся, когда уже будет поздно?

Об этом говорилось на съезде. Но я собирался сказать еще и о том, что история человечества не знала подобного примера по унижению и оскорблению властью собственного народа. Вся эта беспримерная по циничности и фантастическая по безнравственности паспортно-талонно-карточная система распределения продуктов при богатейшем урожае показывает, что новоявленные бесы, или, как их еще называют, «дети Швондера», то есть потомки тех самых перестройщиков, которые уничтожили великую Россию после 1917 года, все силы и все средства бросили на то, чтобы довести до конца дело своих предшественников: окончательно разорить Россию, разложить изнутри ее армию, народ, изнурив голодом и межнациональной враждой, превратить в рабов, в заложников мирового капитала, лишив этот народ возможности защищаться. И самое удивительное то, что при этом, как говорится, народ безмолвствует. Неужели и вправду с ним можно делать все, что угодно?

Мне хотелось сказать, что Союз писателей СССР — это уже фикция, существующая лишь на бумаге. Но Союз писателей России — еще не погиб. «Дети Швондера» его тоже стремятся оболгать, ошельмовать, рассорить, разложить изнутри. Для этого они создали пятую колонну в нашем писательском союзе — комитет «Апрель», организацию литературных конъюнктурщиков, графоманов и провокаторов, способных лишь злобно шипеть на все русское и устраивать судебные процессы над теми, кто заикнется об их национальной принадлежности. На многие годы они опозорили себя процессом над Смирновым-Осташвили, которого сами же пригласили к своему «свободному микрофону». Тем не менее, из столь ненавистного им Союза писателей России они почему-то выходить не желают. Интересно, почему бы это? Не потому ли, что тогда они никому не будут нужны — ни здесь, ни своим зарубежным хозяевам, так как перестанут быть пятой колонной? Может быть, нам самим подумать и размежеваться с ними?

Простые люди часто спрашивают: что же им делать? Их понять можно. Но и писатели многие не знают, что делать. Говорят: надо заниматься литературой, а не политикой. Мол, все само собой образуется. Такое стыдно слушать. Вспомним Некрасова: «Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной...» А Родина-мать у нас одна. Может так получиться, что через полгода, а то и раньше, им и литературой не дадут заниматься...

Мне хотелось заставить задуматься всех о том, что те псевдодемократы, которые прорвались в Советы, мирным путем власть не отдадут. Не для того они к ней с таким остервенением рвались. Вспомним январь 1918 года, когда их идейные предшественники увидели, что проиграли на выборах в Учредительное собрание. «Караул устал»,— сказали они. После чего началась гражданская бойня. Не с этой ли целью нынешние иудодемократы и национальные предатели разжигают общее недовольство, злобу, национальный экстремизм, провоцируют голод, насаждают физический и моральный террор? Не для того ли, чтобы приблизить всеобщую резню? А во время гражданской войны парламентских выборов быть не может. Там будет только диктатура. Талоны и карточки — это и есть первые атрибуты грядущей диктатуры.

Русские писатели-патриоты, может быть, единственные в стране, кто знает, что нужно делать. Нужно объединять вокруг себя народ и армию, ошельмованную псевдодемократами. Похоже, армия сама находится в растерянности от беспримерного предательства интересов народа руководством страны. Она словно застыла в состоянии шока от ударов, наносимых ей из-за угла, в спину разгулявшимися экстремистами, подогретыми науськиванием нашей антигосударственной, лжедемократической печати. Нам нужно не поддаваться самим и смело разоблачать ложь, которую по всем информационным каналам каждый день обрушивают на наши головы организованные средства массового оболванивания.

Если простые труженики желают знать правду, если они не хотят быть раздавленными космополитической торгово-рыночной мафией, то пусть объединяются вокруг патриотических изданий, пусть вливаются в патриотические общества, имеющиеся во всех крупных городах России, и требуют отзыва из Советов всех уровней изолгавшихся депутатов-«демократов», отстаивающих интересы миллионеров-теневиков. У нас есть единственная возможность избежать братоубийственной войны — объединиться ради выживания Отечества, показать нашу смелость и сплоченность.

И все же главная причина всего этого безобразия — в той античеловеческой системе существования, в которую нас всех загоняет наша безнравственная власть. И это — отнюдь не система капитализма, как думают многие. Это — система ограбления оккупированной страны. Мы все с вами оказались в оккупации и должны наконец понять, что любые увещевания, любые просьбы к оккупантам вызывают у них лишь презрительный смех и желание закабалить нас еще больше при виде нашей беспомощности. Можете ли вы себе представить, чтобы кто-нибудь уговорил Израиль не убивать палестинцев и освободить их землю? Оккупантов глупо и бесполезно уговаривать, с ними надо поступать так, как поступили в свое время Минин и Пожарский.

Жаль, конечно, что об этом не удалось сказать на съезде. Но в любом случае наша борьба за спасение Отечества только начинается. И все больше единомышленников вливается в наши ряды, все громче и бесстрашнее звучит голос российских патриотов, единственно способных вывести страну из великого развала, в который вновь завели ее обманувшие народ «демократы».

Марина Сысоева

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСКРЕННОСТИ

* * *

От «нечего делать» легко сочинять,
Не зная зачем и не ставя цели.
От чистого сердца труднее писать:
Вдруг выйдет не то, что бы мы хотели.

Пишу и боюсь, что поймут неверно.
Хочу, чтоб моей фантазии верили.
Тщеславие, может? Но нет! Наверное,
Стремлюсь, чтоб с другими меня не
мерили.

Дождь

По листьям зеленым с болью жестокой
Падают капли, одна за другой.
Эта — слезою, другая — соком,
Третья — кровью, шестая — водой.

Первая плачет о жизни беспечной,
Другая — силами землю питает,
Третья — болью звучит человеческой,
Шестая — все это тут же смывает.

Листья зеленые гнутся под тяжестью,
Тысячи капель сверкают — вот здорово!
Сколько, однако, разного
Будет вылито вам на головы...

* * *

Не дай мне бог на все найти ответ
В заплесневелой черствой книжной
строчке.
Не дай мне бог дожить до старых лет,
Когда в кино идут поодиночке.

Не дай мне бог все в жизни потерять,
Свои слова чужой линейкой мерять.
Не думать по ночам хочу, а спать
И в одиночество душн не верить.

Вам, Петербург!

Я слышу нередко о Вас из сплетен,
Я знаю все радости Ваши и раны.
Я думаю, Вы появились в свете,
Как город безумных дождей и туманов.

Вы — город-искусство. Душа
своенравная.
Который не терпит навеки разлук.
Тоску оставляя. Соперник со странами!
Вы — мной неизведанный град
Петербург!

Когда Вы Россию славите, дерзкий,
В царской короне, успевшей вырасти,
Позвольте же встать перед Вами,
Невский,
Позвольте склониться пред Вашей
Сыростью!

Сдано в набор 03.04.91. Подписано в печать 17.06.91. Формат бумаги 84×108 1/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 11,78. Тираж 60 000. Заказ 309. Адрес редакции: 350650, Краснодар, а/я 69, ул. Коммунаров, 59. Телефоны: главный редактор — 52-29-44, заместитель главного редактора, секретариат — 59-22-60. Типография издательства «Советская Кубань». 350680, Краснодар, ул. Шаумяна, 106.